



Литературный Азербайджан

ИЗДАЁТСЯ
с 1931 года

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ
УЧРЕДИТЕЛЬ - СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ
АЗЕРБАЙДЖАНА

№ 11

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

- АНАР. **Поединок в Париже.** *Киноповесть по мотивам произведений
Ивана Бунина и Банин* 8
- Натиг РАСУЛЗАДЕ. **Гольфстрим.** *Роман-кардиограмма. Окончание* 55
- Гюлюш АГАМАМЕДОВА. **Запретный плод.** *Новелла* 91
- Интигам МЕХТИЕВ. **В очереди.** *Рассказ* 113
- Марита ПИТЕРСКАЯ. **И все начинается снова, или
Тысяча первая сказка о Ходже Насреддине** 127

ПОЭЗИЯ

- Елизавета КАСУМОВА. *Стихи* 44
- Лейла АГАЕВА. *Стихи* 89
- Сергей КОВАЛЕВСКИЙ. *Стихи* 97
- Мария ПЕРЦОВА. *Стихи* 120
- Тофик МАХМУД. *Стихи* 132

ПУБЛИЦИСТИКА

- Судаба АГАБАЛАЕВА. **Караванный путь, одинокий путник и
белое счастье** 3
- Нармина БАЙРАМАЛИБЕЙЛИ. **Посвятить себя любимой профессии** 50
- Гюлюш АГАМАМЕДОВА. **Клише – прокрустово ложе
нашего сознания.** *Эссе* 94
- Юрий МАМЕДОВ. **«Нет, не исчезь на небе звёзд...»** 106
- Эмиль АГАЕВ. **Ба-а, Баку! Ветры перемен** 107
- Марк ВЕРХОВСКИЙ. **Загадочный Узеирбек Гаджибеков** 124

2015

Главный редактор	– Солмаз ИБРАГИМОВА
Зам.главного редактора	– Елизавета КАСУМОВА
Ответственный секретарь	– Эльдар ШАРИФОВ-СЕЙШЕЛЬСКИЙ
Отдел прозы	– Надир АГАСИЕВ
Отдел поэзии	– Алина ТАЛЫБОВА
Отдел публицистики	– Ровшэн КАФАРОВ
Отдел подписки и рекламы	– Джамия ШАРИФОВА тел: (055) 846-98-49
Литсотрудники	– Диляра БАБАЗАДЕ, Егана МУСТАФАЕВА
Компьютерная верстка	– Натаван ХАЛИЛОВА
Корректор	– Анна КУЗЁМКИНА
Редакционная коллегия:	Эмиль АГАЕВ, Кямаля АГАЕВА, Гюльрух АЛИБЕЙЛИ, Эльмира АХУНДОВА, Агиль ГАДЖИЕВ, Асиф ГАДЖИЕВ, Шелала ГАСАНЛИ, Александр ГРИЧ (Лос-Анджелес, США), Максуд ИБРАГИМБЕКОВ, Динара КАРАКМАЗЛИ, Сиявуш МАМЕДЗАДЕ, Азер МУСТАФАЗАДЕ, Эльчин ШЫХЛЫ
Литконсультант	– Натиг РАСУЛЗАДЕ

Журнал зарегистрирован 19.04.96 г в Министерстве
печати и информации Азербайджанской Республики

Регистр. № 352

Адрес редакции:

AZ 1000, Баку, ул.Хагани, 53

Электронный адрес: litaz@box.az

Тел: 493-75-81

Подписано в печать 19.10.2015г.

Бумага офсетная. Формат 70x100 1/16

Печать офсетная, 8.25 печ. л.

Тираж 400

Отпечатано в типографии «OL»НКРТ ММС

Тел.: 497-36-23

Адрес: ул. Мирзы Ибрагимова, 43

ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКАХ ССЫЛКА НА ЖУРНАЛ ОБЯЗАТЕЛЬНА

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

***Ранее опубликованные произведения редакцией
не рассматриваются***

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию «OL»НКРТ ММС

© «Литературный Азербайджан», 2015 г..

СУДАБА АГАБАЛАЕВА

**КАРАВАННЫЙ ПУТЬ,
ОДИНОКИЙ ПУТНИК И БЕЛОЕ СЧАСТЬЕ**



«Они держали путь к горизонту, где схлёстывались черные тучи, сквозь которые вспыхивали зыбкие огни».

Когда я дочитала эту фразу, завершающую кинолегенду «Лейли и Меджнун», мне показалось, что путники, вершащие путь в безбрежной пустыне, это не Зейд и не Зейнаб. Это был он сам, мчащийся на вороном коне за своим белым ослепительным счастьем...

«Его посеревшее лицо выглядело онемевшим, и в очах его пылал жар бесконечной пустыни».

Не сломит ли эта долгая дорога волю всадника?

Домчит ли его черный конь до белого счастья?

...Дороги прервались в 91-м. Параллельные линии не пересеклись – счастье не возвращается...

Остался молниеносный след от скачущего на черном коне седока.

...Отчего путь к свету пролегает через черные тучи?

...Если бы порывы страждущих достигали заветной цели.

...Довелось ли Энверу Мамедханлы совершить путь на черном скакуне?

Дата 29 февраля ассоциируется «с весенним дождем, случающимся на исходе зимы» (Паша Гельбинур). Эта редкая календарная гостья вмешивается в хронологию даты рождения: Энверу Мамедханлы, если вести отсчет со дня рождения, – девяностый год, а по числу дней рождения – получается, что ему нет и тридцати. В 22 года Энвер Мамедханлы разорвал круг этого несоответствия, потому что в этом возрасте он обладал мудростью прожившего долгую жизнь аксакала. Еще с юных лет на его долю выпали страдания, которые сопутствовали ему на протяжении всей жизни. Эта боль отразилась в творчестве (в произведениях «Лунный свет», «Бакинские ночи», «Караван стал» и «Расставание»).

И это была судьба.

Он не выбирал судьбу, но направление дал ей сам. Колесо фортуны, соскочив с оси и, корёжа участь членов рода, пролагало путь писателю. Но и всеильная судьба натывалась на благородство и стойкость, не в силах подавить и сломить его дух. Эти неизмеримые, бесценные качества сохранялись даже тогда, когда судьба загоняла его в угол и хватала мертвой хваткой за горло. Энвер Мамедханлы, росший при режиме, с которым не смирился его отец, не принял навязанные системой моральные ценности, – в его существо не проникла психология Павликов Морозовых. Он не смог похоронить на родной земле отца, обиженного на сына за незаконченное высшее образование. Но по тем временам он сделал невозможное: перезахоронил отца на мусульманском кладбище – поступок, который мог бы стать основанием для приговора военного трибунала: был 1942 год.

Из-под пера двадцатичетырехлетнего писателя в 1937 году вырвался безмолвный крик души: «...Мы расстаемся со своим прошлым, с кровью отдирая его от собственного сердца».

Может, разразившаяся война заглушит эту боль или утешит, растворит ее, смешает в массу всеобщего всенародного горя? На фоне «утешительных красок этих схожих бедствий» Энвер Мамедханлы показывает увиденные им «простые, обычные моменты» жизни, обнажающие его писательскую и человеческую сущность. Он говорит о великой, самоотверженной материнской любви, впрочем, в этой самоотверженности нет ничего сверхъестественного, неординарного; мать согревает осиротевшее дитя своим дыханием и готова пожертвовать всем, чтобы оградить любимое чадо. «...Всем, что она могла сорвать с себя, она укрывала своего малыша, и на последнем вздохе почти не шевелящимися губами шептала: не бойся, малыш, ...и тепло моего последнего вздоха принадлежит тебе» – эти простые и глубокие по своей сути слова, разрывающие сердце и потрясающие до глубины души, я помню и сейчас. Наверняка, с детских лет и вы помните рассказ «Ледяное изваяние».

«...Рука матери с раскрытой ладонью была неподвижна, казалось, этой неподвижностью она чего-то ждала, этой неподвижностью она кричала и звала кого-то...», «...ее грудь была бездыханна, руки-ноги мертвы, глаза, язык, губы мертвы, легкие, волосы – безжизненны, только сердце все еще оставалось живым, сердце, которое всегда билось ради сына, и сейчас оно все еще сопротивлялось смерти, не сдавалось, она хотела увидеть сына, чтобы умереть счастливой, потому ее предсмертная агония все тянулась и тянулась». («Смерть матери»).

Эта сцена описана настолько пронзительно, что добавить что-то невозможно,

не нужны объяснения и патетические проклятия в адрес войны, слова застывают на устах, и ты не в силах нарушить тишину этой трагической минуты.

В предисловии к книге «Свет двух жизней» Анар пишет: «Каждый большой талант подобен магниту, притягивающему к себе всевозможные бедствия», – эти слова вполне применимы и к Энверу Мамедханлы. Будучи человеком очень скромным, он избегал говорить о своем писательском таланте, был абсолютно лишен самомнения и терпеливо опровергал все хвалебные эпитеты в свой адрес, но все его творчество и количество его почитателей говорит само за себя.

Любые попытки сравнить его с другими писателями, исследования, попытки «что-то» выискать в его произведениях, прикрепить к его имени какой-либо «изм» заканчиваются ничем. В каждом творческом человеке живет личность, и большое значение в творчестве имеет то, что выходит на передний план: личность или профессионализм. У Энвера Мамедханлы в этом смысле существовала полная гармония и единение личности и творчества. В этом смысле он оставил после себя богатое наследие.

Значимость наследия проверяется отношением наследников к предшественникам. Четырнадцать лет назад не стало Энвера Мамедханлы. Обстоятельства, связанные с сохранением его творческого наследия, не могут не вызывать тревоги и озабоченности. В библиотеке, носящей имя писателя, нет справочного стенда, который бы рассказывал о творчестве и биографии Э.Мамедханлы, невозможно найти и книги писателя (работница нам ответила: «Была книга, по-моему, названия не помню, она у читателя»); кроме того, давно назрела необходимость издания произведений Энвера Мамедханлы на латинской графике, думаем и надеемся, что мы не слишком далеко забегаем вперед, говоря об этом.

Между тем, творчество и произведения Энвера Мамедханлы до сих пор еще не представлены читателям в полном объеме.

Многие грани его творчества и жизни могли бы высветить писатели старшего поколения, пришедшие в литературу в 30-е годы.

Естественно, Энвер Мамедханлы не был застрахован от знаменитого изречения: «Каждый человек похож на свою эпоху больше, чем на своих родителей». Но как творческому человеку быть впереди общественного мнения, понимать «истоки и причины происходящих событий», молчать, чтобы не заниматься художественным украшательством «неприглядных, насквозь лживых картин окружающей его жизни», было не просто. Он – автор романов «Заря Востока» и «Белый сокол хуррамитов» (о борьбе Бабека против нашествия арабского халифата). Но сам в душе он такую «Зарю Востока» не принял, критически всматриваясь в потери, приносимые стихией революции, и ломку общества, он вернулся к старым, испытанным временем ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ценностям. «В огне» он искал Бабека, как оплот самосознания народа, в надежде, что только несгибаемый дух бабеков не даст погаснуть родным «материнским очагам». Это были зигзаги, контрасты исторического катаклизма, изломы эпохи, и писатель видел разрушения и последствия, учиненные катастрофой «сошедшего с рельс» поезда...

О чем бы ни писал взявшийся за перо художник, он пишет о себе и себя. В произведениях так или иначе отражаются его личность, мировоззрение, натура. С первых произведений Мамедханлы демонстрировал тонкую наблюдательность, умение не только понять и увидеть внутренний мир человека, но и мастерски, во всех деталях показать его читателям, используя всю палитру изобразительных средств родного языка... В прозе не у каждого автора встретишь такой лиризм и поэтику. Но эта поэтическая интонация всегда выверена, выдержана в определенных рамках, естественна в своих проявлениях, и читатель окунается в поток переживаний героев.

«...Теперь уже, казалось, у него в душе ничего не осталось, все было смыто, унесено этой ночной песней – сердце было опустошено, и голос оборвался, как лопнувшая струна...»

Те, кто с достоинством принимает все удары судьбы, отвергая даже её дары, остаются людьми целостными. Таковы герои писателя.

«– В селе о вас молва ходит.

– Да, что-то было между нами. Но мы разошлись.

– Поспешили, может быть?

– Нет, с самого начала все шло к этому.

– Коли так, не тужи. Забудется.

– Никогда! Я знал, что мы расстанемся. Но я любил.

– И до сих пор?

– Теперь – еще сильнее!» (Из рассказа «Расставание»).

Но и смерть не властна над этими чувствами. И оказалось, что отказ в прощении был самым большим признанием в любви.

Ильясу, герою рассказа, отрекшемуся «от счастья, которое означало для него явленный им же самим и отвергнутый мир», ничего иного, кроме смерти, не оставалось.

Фариз поздно понял: *«что же дали ему два упоительных года, пережитые им с Хумар столь самозабвенно, столь всепоглощающе?.. Сердце взвалило на себя бремя столь великой любви, что после уже ни для кого, ни для чего не оставалось места...»*

«Талант, притягивающий к себе всевозможные бедствия» (Анар), напоминает классическую исповедь из газели Физули:

Я чаю печали, и как чают печали меня...

Быть может, духовная связь с великим Физули подвигла его на создание кино-легенды «Лейли и Меджнун»?

При определении бремени, которое мы собираемся принять на себя, физические возможности не учитываются; вероятно, сказывается неосознаваемая нами степень внутреннего долготерпения, стойкости, духа противодействия...

«Ох, Анар, лучше не вороши то, через что нам пришлось пройти. Мне кажется, нет такой семьи, на долю которой выпало бы столько страданий».

Какие силы нужны были Энверу, чтобы побороть душевную боль, слыша эти слова своей сестры Арифь-ханым?

А вот что пишет сам Анар об Энвере Мамедханлы: «Он был жизнелюбив. Как человек, смолоду умевший наслаждаться радостями жизни, он и в солидном возрасте не утратил задора, полемического запала, желания жить, мыслить, размышлять, спорить».

При всем при этом как объяснить, откуда у писателя брались силы и стоическая выдержка перед тектоническими толчками памяти о невзгодах, время от времени причинявших горе и боль всему роду Мамедханлы?

Мало того, ему пришлось столкнуться с умышленным, сознательным игнорированием его творчества, может быть, и потому он не любил «маячить», «мозолить глаза» на миру? Не хотел выставлять свои горести и предпочитал оставаться в стороне, жить замкнуто. (До сих пор многим памятно его выступление в СП, в клубе имени Натаван, на обсуждении повести М.Сулейманлы «Мельница», на которую обрушилась официальная критика).

Он отошел в сторону, замкнулся в себе, возможно, разочарованный девальвацией нравственных ценностей. Разочарованный лицемерием тех, в кого верил или хотел верить, разглядевший их фальшь и неискренность. Может быть, потому в свое время не были востребованы его бескорыстная любовь, искренность и душевная чистота?

Не оценили... Так куда же ему было идти, к кому обращаться? Ему ничего не оставалось, кроме как с достоинством принять все и остаться сами собой...

И это была Победа Энвера. Триумф интеллигента, представителя одного из достойных родов Азербайджана.

Уединение, самоотстранение от суеты таких людей, как Энвер Мамедханлы, – это тоже вызов, поступок...

Он вправе был сказать слова, которые могут служить утешением для ценителей и творцов искусства, не потерявших себя в нашем суетном мире: «...Я, как воитель бессмертной правды, вновь нахожусь в вашем строю...»

А Н А Р

ПОЕДИНОК В ПАРИЖЕ

(Киноповесть по мотивам произведений Ивана Бунина и Банин)

На фоне старинных фотографий Москвы, Баку, Парижа появляется текст:

Жил-был великий русский писатель, дворянин Иван Алексеевич Бунин (1870-1953). У него было громкое литературное имя, культурная среда, были читатели и почитатели, которые видели в нем кумира. Разразилась революция – «бессмысленный и жестокий бунт», и Иван Бунин потерял все – свое устоявшееся место в отечественной литературе, почести, Родину и ауру родного языка. Пережил «Окаянные дни», перебрался в Париж, где до конца просуществовал эмигрантом, чужаком, с неизбывной тоской по России.

Жила-была внучка бакинских нефтяных миллионеров Умм-уль Бану Асадуллаева (1905-1992). Тайфун революции ее, так же, как и всю ее семью, лишил всего – благополучного, беззаботного существования, детских шалостей, простых девичьих радостей в атмосфере богатой и достаточно культурной семьи, а в конце концов и Родины. Но, в отличие от Бунина, она попала в Париж совсем молодой, сумела адаптироваться, стать французской писательницей Банин, и порой вспоминала о своей стране лишь как о далекой экзотике.

И вот они встретились в Париже – нобелевский лауреат, увенчанный всемирной славой почтенный мэтр, умирающий от ностальгических воспоминаний в годы своего заката, и жгучая восточная красавица, которая неожиданной краской вписалась в финал жизни писателя. Большая разница в возрасте не стала помехой для их частых встреч, переписки, и возникло позднее чувство Бунина – любовь к «шамаханской царице», как он называл ее, и ее ответное, платоническое, но гораздо более сдержанное чувство к нему, больше связанное с почтением к его великой личности. Каждый из них вел свою партию, пытаясь ни в чем не уступить другому – этот сюжет стал темой для бесстеллера Банин «Последний поединок Ивана Бунина».

Киноповесть написана по мотивам этой книги Банин, а также «Жизни Арсеньевой», «Окаянных дней» и других произведений И. Бунина, книг «Кавказские дни», «Парижские дни» Банин. Конечно, литературное наследие великого Бунина и просто талантливой Банин несопоставимы по художественным масштабам, но из этих текстов можно почерпнуть много живых деталей, которые помогают воссоздать картины прошлого и атмосферу их встреч.

ПОЕДИНОК В ПАРИЖЕ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПОЕДИНОК ДВУХ СВОЕНРАВНЫХ ЛЮДЕЙ, НО ТАКЖЕ ИХ ПОЕДИНОК С ПАРИЖЕМ, С СУДЬБОЙ, С ОДИНОЧЕСТВОМ, С ВОСПОМИНАНИЯМИ О ПРОЖИТОЙ И НЕВОЗВРАТНО УШЕДШЕЙ ЖИЗНИ.

Квартира Тэффи. Комната с огромным диваном, всюду в «художественном беспорядке» – книги. На стенах фотографии и картины русских художников-эмигрантов. Фотографии кипой лежат и на небольшом письменном столе.*

*Тэффи – литературный псевдоним Надежды Александровны Лохвицкой (1872-1952), русской писательницы-юмористки, эмигрировавшей в Париж.

Умм-уль Бану рассматривает фотографии. Ей в это время (в 1946-ом году) 41 год. Ее внимание останавливается на одной из фотографий. Это фотопортрет Бунина.

– Кто это? – спрашивает она у Тэффи.

Тэффи (ей в это время 74 года):

– Как, вы не знаете? Посмотрите на надпись: это же наш великий Иван Алексеевич Бунин, нобелевский лауреат.

Банин (*пристально вглядываясь в фотографию*):

– Да, царственно величав, лицо надменное, даже несколько агрессивное. Но мне нравится. Таким я представляю Андрея Болконского в старости, если бы Толстой дал ему дожить до пожилого возраста.

– Ах, Толстой – безжалостный писатель, – сказала Тэффи. – Знаете, Банин, я даже ходила к нему, хотела уговорить, чтобы он не убивал князя Андрея.

– И что? – с любопытством спрашивает Банин. – Не удалось уговорить?

– Да нет, я просто не посмела заговорить об этом. Принять-то он меня принял, но я так взволновалась, что смогла только протянуть ему фотографию для автографа. В те годы я буквально бредила Андреем Болконским.

– Как и я, – говорит Банин. – Я тоже была по уши влюблена в него. Но я видела его живьем.

Тэффи *вопросительно смотрит на Банин.*

Вирированные кадры в стиле ретро.

Абшеронская дача Асадуллаевых.

В винограднике, на песчаных валунах, две девочки 15 лет – Умм-уль Бану (будущая Банин) и ее кузина Гюльнар. Перед ними красноармеец Григорий сорока лет.

– Скажите, милые девочки, разве это справедливо, что ваш дед владел таким огромным состоянием, благодаря чисто случайно обнаруженной нефти, а?

Гюльнар (*поспешно*):

– Нет, конечно, несправедливо.

Григорий:

– Молодец, Гюля... А справедливо ли, что за игрой в покер богачи просаживали миллионы, а в лачугах дети рабочих помирали от холода и голода? А? Что молчишь, Уля?

Банин:

– Несправедливо...

Григорий:

– Молодцы. Вы еще так молоды, вы должны порвать со своим эксплуататорским классом. – *Вынимает из кармана два значка с изображением Ленина и надевает на грудь девочкам.* – Вот на днях я познакомлю вас с нашим комиссаром. Настоящий герой, где только не сражался с врагами, не раз смотрел смерти в глаза.

Закадровый голос Банин:

– И вот однажды он пришел. Нет, не красный комиссар, а сам князь Болконский.

Навстречу девочкам быстрой походкой идет высокий, стройный молодой человек.

Закадровый голос Банин:

– Вот тот, о котором я так часто грезила. Тот, чья смерть казалась мне слишком невообразимой, чтобы поверить в нее. Вот он, тут, воскресший ради меня: гордая посадка головы, задумчивое лицо, внимательный, серьезный взгляд. Таким я знала князя Андрея, когда впервые прочла «Войну и мир».

Комиссар:

– Здравствуйте, девочки. Что за чудный у вас тут пейзаж. Я никогда не видел таких роскошных виноградников. Такое голубое небо, столько песка. А этот валун, наверное, ваш остров?

– Да, – *ответила Гюльнар*, – это наш остров, наше королевство, а мы в нем принцессы. А вы...

– А вы князь Андрей Болконский, – *быстро добавляет Банин*, – не так ли?

– Не бойтесь моей кухни, она вечно где-то витает, – *сказала Гюльнар*.

Комиссар, улыбаясь:

– Выходит, себя вы считаете Наташей?

– Нет, – *быстро отвечает Банин*. – Я бы вам никогда не изменяла.

Из-за куста виноградника за ними наблюдают кузены-близнецы Асад и Али. Затем они бегут к Бабушке. Бабушка – пожилая, грузная, властная женщина в восточной одежде: архалук, пышная юбка, келагай-платок на голове.

Асад:

– Nənə, bağda Ümm-ül Banuyla Gülnar naməhrəm kişilərlə danışirlar.

(Субтитры: Бабушка, там в саду Умм-уль Бану и Гюльнар беседуют с двумя незнакомыми мужчинами)

– Çadrasızdılar? – *грозно спрашивает Бабушка.*

(Субтитры: Без чадры?)

Али:

– Nə çadra, heç kəlağayı da yoxdu başlarında. Nəyəsi də döşünə bir medal taxıb.

(Субтитры: Да какая чадра, даже без келагая. И еще себе на грудь прицепили какую-то медаль).

...Бабушка с гневом срывает с груди девочек значок с изображением Ленина.

Комната Тэффи:

– Ну, а что потом, что стало с вашим красным князем? – *спрашивает Тэффи.*

– Эта долгая и грустная история, – *отвечает Банин*. – Но я бы хотела познакомиться с Буниным.

– Это можно, тем более, что он у нас равнодушен к женской красоте.

– Даже в этом возрасте? – *спрашивает Банин.*

– Даже в этом возрасте, – *отвечает Тэффи.*

Кафе «Ротонда». На стенах автографы и рисунки знаменитостей, посещавших это кафе.

За одним из столиков Иван Бунин – седой, статный мужчина 76 лет. Увидев подошедших Тэффи и Банин, он встает и учтиво целует их ручки.

Тэффи:

– Знакомьтесь, Иван Алексеевич, с моей молодой подругой Банин. Она тоже писательница.

Бунин:

– Слышал. Очень рад, мадам.

Тэффи:

– Вот и состоялось историческое знакомство Бунина и Банин.

Бунин:

– У нас разница в одну букву.

Банин:

– И еще в одну Нобелевскую премию.

Бунин:

– Ах, эта Нобелевская премия. Я, по правде, даже забыл о ней.

Банин:

– Ну уж, забыли! Это не забывается. Вы на самой вершине литературной лестницы, а я на ее нижней ступени.

Бунин:

– Не прибедняйтесь. Я читал некоторые ваши вещи. Но почему вы пишете на французском, а не на родном русском?

– Почему это я должна писать на русском, и почему он мой родной, я же не русская?

– Но вы ведь и не француженка.

– Я вот уже двадцать лет живу в этой стране, и она стала моей родиной. Я ощущаю себя француженкой.

– Позвольте вам возразить, мадам, Родина бывает только одна.

Тэффи:

– Ну, не спорьте с первой же встречи. Лучше закажем кофе. Вы будете, Иван Алексеевич?

Бунин утвердительно кивает. Тэффи заказывает кофе...

Возникают сцены воспоминаний Банин в фотографиях и кинокадрах. Семилетняя Банин играет на рояле. Фрейлейн Анна слушает и дает указания, мужчины – в их числе отец Банин Мирза Асадуллаев, Джамиль – играют в покер за круглым столом. 30-летний Джамиль, будущий муж Банин, ест мороженое, но сперва он ловит мух, впихивает их в мороженое и с наслаждением ест. Маленькая Банин с отвращением наблюдает за этим...

Кафе «Ротонда». Банин с любопытством рассматривает автографы на стенах кафе.

Банин:

– Сплошные знаменитости...

Тэффи:

– Какие уж знаменитости, если среди них нет самого знаменитого парижанина, Ивана Алексеевича Бунина.

Бунин (*с легким раздражением*):

– Позвольте заметить, уважаемая Надежда Александровна, я вовсе не парижанин. Я лишь вынужден жить в Париже по воле обстоятельств.

Тэффи:

– Париж – собака на Сене, как говорят русские, так?

Бунин:

- Я этого не говорил
- Но вы же не поехали в Америку, хотя и приглашали, а во время войны остались в голодной Франции. А сейчас, я слышала, вас приглашают большевики.

Бунин пожимает плечами, встает, смотрит на часы:

- Извините, милые дамы, должен буду покинуть вас, важная встреча. Поклонившись, медленно удаляется.

Банин:

- А правда, что его приглашают в СССР?
- Говорят. А знаете, какая бомба взорвется, если он все же примет приглашение и поедет!

Банин:

- А вы – поехали бы вы?
- Я? Я попрощалась со своей родиной 25 лет назад раз и навсегда, когда пароход удалялся от берегов Одессы...

Вирированные кадры воспоминаний Тэффи.

Пароход, отплывающий с одесского берега. На палубе молодая Тэффи со слезами на глазах смотрит на удаляющийся берег.

Закадровый голос Тэффи:

- Когда мы отплывали, я плакала. Моя земля тихо-тихо уходила от меня.

Кафе «Ротонда». Тэффи:

– Россия – это не пространство, где растут белые березы, а некая культурно-социальная общность, которой ныне, увы, уже нет. Душа моей родины умерла. А в стране, построенной на ее развалинах, я бы себя потеряла. А я ведь тоже вначале поверила большевикам. Сотрудничала в их газетах. Писала смешные рассказы. Но потом...

Банин:

- Что потом?
- Мне говорили: как можете вы смеяться, когда наша родина страдает?
- И вы решили уехать?
- Я просто поняла принцип большевиков: чтобы всем было хорошо, нужно, чтобы каждому было скверно.

Банин:

– А я бы с удовольствием поехала в Москву, если бы представился случай. Я ведь там никогда не была.

- А как вам наш Иван Алексеевич?
- Слишком гордый, если не сказать, заносчивый.
- А это он перед вами перья распускал. Вы явно ему понравились, но берегитесь, он пожиратель.
- Меня не так просто сожрать.
- А знаете, почему он ушел?
- Обиделся на что-то?
- Да нет, не хотел расплачиваться
- Он что, такой скупой?
- Все нет. Он раздал чуть ли не половину своей Нобелевской премии нашим

нуждающимся соотечественникам, которых здесь уйма, в том числе очень большую сумму передал Куприну – 5000 франков. Это тогда были очень большие деньги. Куприн был безмерно счастлив и благодарен ему.

– Что же отдал 5000 франков и пожалел несколько су для нас с вами?

– Да поймите ж, это было пятнадцать лет назад. Премия давно растрочена. Сейчас он еле сводит концы с концами, иногда не хватает денег даже на сигареты...

Официант приносит счет.

Тэффи:

– Я расплачусь за себя и за Ивана Алексеевича.

Банин открывает свою сумку.

– Да подождите, я заплачу.

– Расплачивайтесь за себя, милая. Здесь не ваш Кавказ.

Комната Банин. Книжки, в углу большое кресло. На полке фотография молодого человека в комиссарской кожаной тужурке. Его мы узнаем по предыдущим кадрам воспоминаний Банин.

Стук в дверь. Банин открывает.

Тэффи:

– Здравствуйте, милая. Иван Алексеевич просил не в службу, а в дружбу занести вам его книгу. «Ведь вы же соседи», сказал он, передавая книгу. Он будет безмерно рад, если вы прочтете и позвоните ему. Вот его телефон.

– Что ж, спасибо.

Тэффи:

– Милочка, должна сообщить вам, что он наповал сражен вами. Называет вас «черной розой Востока», «черноокой газелью». Позвоните ему.

Банин:

– Что за радость выслушивать объяснения в любви от семидесятипятилетнего поклонника, даже если он и нобелевский лауреат?

Банин раскрывает книгу «Темные аллеи» и видит автограф.

Звучит закадровый голос Бунина:

«Сердце мужчины выскальзывает из его рук и говорит «Прощай!» – слова Саади о человеке, который в плену у любви».

Банин (сама себе):

«В плену любви»? Намек на себя самого? Как? Между нами зашла уже речь о любви?»

Квартира Бунина. Две небольшие комнатухи – кабинет и спальня. За письменным столом Иван Алексеевич. Отложил перо, задумался. Входит Вера Николаевна – его жена.

– Что с тобой, Ян? Ты как-то не в себе.

– Что-то не пишется.

Звонит телефон.

Бунин порывается встать, Вера Николаевна:

– Я подойду, – берет трубку. – Слушаю. (Бунину): – Это месье Жак из префектуры. Подойдешь?

– Нет, скажи, что задремал. Опять с какой-нибудь неприятностью.

Бунин за столом комкает бумагу, выбрасывает и начинает с нового листа.

«Дорогая Госпожа Банин», затем вычеркивает слово «госпожа».

Вера Николаевна:

– Прислали счет за электричество. А у нас почти не осталось денег, еле дотянем до конца недели.

Бунин:

– Я написал Седых в Нью-Йорк, ты знаешь, там издают мою книгу, просил срочно выслать аванс. Обещал. Ты помнишь Седых?

– Яшку Цвибака? Конечно, он же был твоим литературным секретарем.

– А теперь вот издатель. Процветает.

Телефонный звонок. Бунин снова порывается встать, Вера Николаевна берет трубку, Бунину:

– Какой то незнакомый, но милый женский голос. Будешь говорить?

Комната Банин. Банин говорит по телефону:

– Спасибо за книгу, Иван Алексеевич. Перелистываю.

Экран разделяется на две части: на одной – Банин, на другой – Бунин.

Бунин:

– Перелистываете или читаете?

Банин:

– Разумеется, внимательно читаю, прочла уже более половины. Дочитаю сегодня.

– Ну и?

– Восхитительно!

На лице Бунина довольное выражение.

– А не могли бы мы встретиться и поговорить более подробно, когда вы дочитаете?

– Отчего же нет?

– Тогда давайте встретимся завтра, скажем, в 12, в том же кафе.

– Зачем в кафе? Такая дивная погода, прогуляемся по бульвару, будем смотреть на каштаны.

– Чудесно. Тогда до завтра. Встретимся на углу бульваров Распай и Монпарнас.

Вера Николаевна:

– Какая нибудь неприятность?

Бунин (с довольным видом):

– Совсем нет.

Вера Николаевна понимающе улыбается.

Бульвар Монпарнас, усыпанный золотой осенней листвой. За кадром звучит шансон: Морис Шевалье, Эдит Пиаф. Бунин с тростью и Банин неспеша идут по бульвару.

Бунин:

– Тэффи рассказывала, что вы из очень богатой семьи. А кем были ваши родители?

– Отец был министром во время независимой Азербайджанской республики. Мать я не видела, она умерла при родах, когда на свет появилась я. Родилась я в дороге, мы бежали из Баку от погромов.

– А куда вы бежали?

– В Шамаху, это небольшой город недалеко от Баку.

– Так вы и впрямь «Шамаханская царица»!

– Не знаю, какая я царица, но два моих деда – по отцу и матери – были самыми богатыми нефтяными миллионерами на Кавказе. Сама же я с самого детства мечтала быть бедной.

– Гм... Весьма странное желание.

– Мне приятнее ощущать себя бедной здесь, чем богатой там.

– А я полагал, что вы должны были страдать от того, что революция отняла у вас все.

– Наоборот. Я благодарна революции и войне, они стали причиной того, что я оказалась здесь – в стране моих самых сладких грез.

– Вы так любите Париж?

– Безмерно. Причем, с самого раннего возраста.

Вирированные кадры воспоминаний.

Дом Асадуллаевых в Баку. (Этот дом сохранился в Баку, на улице Гоголя).

Отец Банин – Мирза, импозантный мужчина средних лет, сидит в своем кабинете и грустно рассматривает фотографию своей покойной жены. Тихо входит в кабинет семилетняя Умм-уль Бану. Мирза берет ее на руки, гладит волосы:

– Nə yaman oxşayırsan rəhmətlik anana!

(Субтитры: Как ты похожа на покойную мать!)

Бабушка входит в комнату, забирает девочку, обращается к сыну:

– Bəsdı dərd çəkđın. Ölənlə ölmək oımaz. Dörd qızın var, onları anasız qoyma. Mən bu qün varam, sabah yox.

(Субтитры: Хватить горевать. Нельзя умереть с усопшими, у тебя четыре девочки. Не оставляй их без матери. Я ведь тоже скоро умру).

Мирза:

– Nə danışırsan?

(Субтитры: О чем ты?)

– Deyirlər səni nazir qoymaq istəyirlər.

(Субтитры: Говорят, тебе предложили быть министром.)

– Hə, təklif ediblər...

(Субтитры: Да предложили...)

– Bəs nə fikirdəsən?

(Субтитры: И что ты решил?)

Мирза пожимает плечами.

Кадры Баку примерно тех лет.

По улицам города маршируют аскеры (солдаты) армии независимой Азербайджанской республики (1918-1920) с трехцветным флагом этого государства. Аскеры расппевают Гимн Азербайджана.

...К дому Асадуллаевых подъезжает автомобиль, из него выходит Мирза с портфелем. Его сопровождают Джамиль и телохранитель. Телохранитель остается у парадных дверей.

...Мирза в пальто прощается со своими девочками:

– Sizə Parisdən nə gətirim, qızlar?
(Субтитры: Что вам привезти из Парижа, девочки?)

Девочки смущенно улыбаются. Умм-уль Бану:

– Мне куклу.

Кадры Парижа начала XX века.

И вот уже Мирза возвращается из Парижа. Рядом с ним молодая, красивая женщина в европейской одежде. Он знакомит ее со своими дочерьми, та дарит им парижские подарки. Умм-уль Бану, надувшись, спряталась в углу другой комнаты.

Мирза:

– Vəs balaca hardadır?
(Субтитры: А где маленькая?)

За это время три старшие девочки облачились в красивые парижские платья. Мирза наконец обнаруживает спрятавшуюся Умм-уль Бану, представляет ее своей новой жене Амине:

– А это наша самая маленькая. – Указывая на жену: – Вот я и привез тебе куклу из Парижа.

– Ах, смугляночка, – говорит Амина, улыбаясь, и, отвернувшись от нее, берет мужа под руку.

Умм-уль Бану быстро убегает.

Бабушка, сидя на полу с раскрытым перед ней на стуле Кораном, молится. Умм-уль Бану прячется под подолом пышной юбки бабушки.

Мирза:

– А ну, выходи оттуда, я тебе и настоящую куклу привез.

Бабушка (закончив молитву, сердито):

– O böyükdə gətirdiyin nəmənədi, kafirdi?

(Субтитры: А кого это ты привез с собой, гяурку?)

– Demirdin evlən? Evləndim də, xalis müsəlmandı, osetindi.

(Субтитры: Разве ты не предлагала жениться? Вот и женился, истинная мусульманка, осетинка)

Парк Монсури. Бунин и Банин сидят на скамейке.

Банин:

– Я всегда чувствовала себя в семье Золушкой. Да так и не дождалась своего принца.

Бунин:

– Вот вы благодарны революции за то, что оказались в Париже. А у меня революция отняла все. Знаете, сколько дорогих мне людей погибло? Красные преследовали их, расстреливали, гнали, грабили...

Вирированные кадры воспоминаний Бунина. Одесса, 1918 год. Стены домов завешаны революционными плакатами и лозунгами. Перед небольшой толпой выступает оратор-коммунист:

– Враги народа хотят потопить революцию в нашей крови, хотят, чтобы господа жили в писаных хоромах, а мужики в хлеву, на гнойниках, с коровами, гнули свои спинушки для дармоедов-лежебоков... Не бывать этому. Ты скажи нам, гадина, сколько тебе дадено? За каждую жертву, убитую белогвардейскими палачами, мы ответим стократным красным террором.

Несут гроб, с накинутым кумачом. Молодой Бунин наблюдает за процессией. На углу стоит старуха и, согнувшись, горько плачет. Бунин подходит к ней, пытается утешить:

– Ну будет, будет, Бог с тобой. Родня, верно, покойника-то?

Старуха пытается одолеть слезы и, наконец, с трудом выговаривает:

– Нет... чужой... завидую...

Парк Монсури.

Бунин:

– Был народ в 160 миллионов численностью, владевший шестой частью земного шара и какой частью! Сказочно богатой. И вот этому народу долбили, что единственное его спасение – это отнять у тысячи помещиков те десятины, которые и так не по дням, а по часам таяли ...

Банин:

– Итак, вы полностью отрицаете, что в царской России не было никакого социального неравенства, несправедливости, что в ней был либеральный режим? И потому революция...

Бунин (*перебивая ее*):

– Революция, душа моя, есть только кровавая игра в перемену местами, всегда кончающаяся только тем, что народ, даже если ему и удалось некоторое время попировать и побушевать на господском месте, в конце концов всегда остается ни с чем. Просто меняются его хозяева.

Банин:

– Я так понимаю, что вы не поедете в Россию, если даже вас пригласят.

– Во-первых, меня еще никто не приглашал, а во-вторых...

Банин:

– Я бы так хотела, чтобы пригласили, и вы поехали, уверена, там бы вас носили на руках.

Бунин:

– Вот Куприн поехал и через год помер.

- Но умер на Родине.
- Вы что, хотите и моей смерти, мадам?
- Да что вы, Господь с вами! Я просто хотела бы, чтобы вы поехали и взяли бы меня ...ну, в качестве, скажем, литературного секретаря.
- Ничего себе литературный секретарь, мы болтаем с вами уже целый час, а вы так и не соизволили сказать, дочитали ли вы мою книгу, и какое впечатление сложилось у вас?
- Ну что вам сказать, вы и сами прекрасно знаете, все замечательно, тонко, поражает глубина анализа. И удивительная память, как вы все точно, подробно помните.
- Бунин (*с легким раздражением*):
- При чем здесь память? Все в моих рассказах – и этих, и прежних – от слова до слова выдуманно.
- А что вы огорчаетесь, когда говорят о вашей феноменальной памяти?
- Как же мне не огорчаться, когда думают, что я пишу с такой убедительностью только потому, что обладаю необыкновенной памятью, что я пишу все с натуры. Никто не верит, что почти все я выдумываю – все, все. Обидно!
- Что ж вы так, любую мысль принимаете в штыки. Тогда и говорить не о чем.
- Нет, отчего ж, продолжайте ваши наблюдения.
- Вы, конечно, великий мастер в описании подробностей, неважно, они выдуманы или запомнились. Тщательность ваших описаний порой даже утомляет своим излишеством.
- Ну, ну, продолжайте...
- Вот хотя бы в этих ваших «Темных аллеях»: персонаж всегда один и тот же – вы сами.
- Неужто вы, сама – литератор, не ощущаете разницу между автором и его героями?
- Почему ж, ощущаю, порой ваши персонажи выписаны пунктирно, с подтекстом, так сказать, как у Хемингуэя.
- Бунин (*вспылив*):
- И не стыдно вам сравнивать меня с этим охотником на львов?
- Извините, если это вас задевает. Но вот все ваши рассказы в этой книге – о любви. И все время – одна и та же история. Меняется только фон, только декорации. Любовь для вас только с первого раза, нередко – только на одну ночь. А затем обязательно разлука – измена или смерть, либо самоубийство. Вы не можете представить длительность любви. Любовь для вас всегда мимолетна. Вот вы пишете: «Он был очень влюблен, а когда очень влюблен, всегда стреляют себя». Как это понимать?
- А вы этого никогда не поймете. Когда в молодости меня бросила любимая, я не застрелился в ту ночь только потому, что твердо решил: все равно застрелюсь, не нынче, так завтра.
- Какое счастье, что вы отложили это дело аж на семьдесят лет.
- Не ерничайте. Вот был бы я молодым, я бы и в вас влюбился. И была бы большая беда.
- Что ж, Гете в вашем возрасте влюбился и, кажется, не только платонически. Правда, он не был пристрастен к спиртному.
- Бунин (*взрывается*):
- А вы, оказывается, злая.

С дерева падает крупный каштан на голову Банин. Она вскрикивает.

Бунин:

– А вот и пресловутые парижские каштаны.

Банин:

– На дереве они более красивы...

Бунин:

– А вы знаете, как у нас в России удивителен расцвет дерева, если весна дружная, счастливая?

На экране возникают русские пейзажи и звучит закадровый голос Бунина:

«Взглянув на дерево однажды утром, поражаешься обилию почек, покрывших его за ночь. А еще через некий срок внезапно лопаются почки и черный узор сучьев сразу осыпают несметные ярко-зеленые мушки. А затем надвигается первая туча, гремит первый гром, свергается первый теплый ливень – и опять, еще раз совершается диво: дерево стало уже так темно, так пышно по сравнению со своей вчерашней голый снастью, раскинулось крупной и блестящей зеленью так густо и широко, стоит в такой красе в силе молодой крепкой листвы, что просто глазам не веришь...»

Парк Монсури.

Бунин (иронично):

– Allons au bois de Boulogne embrasser le bouleau.

(Субтитры: Пойдемте в Булонский лес обнять березу!)

Банин:

– Сколько лет вы в Париже?

– Да без малого уже 27.

– Да так и не полюбили этот город, не стали парижанином.

– А зачем мне становится парижанином. Я русский, русским родился, русским и умру. Россию, наше русское естество, мы унесли с собой, и где бы мы ни были, мы не можем не чувствовать его. А вы разве не тоскуете по своей бывшей Родине, по Баку?

– Нисколько. Баку кажется мне далеким, нереальным сном, моя семья же – продуктом моего воображения.

– Наверное, вы счастливый человек. Воспоминания – нечто столь тяжкое, страшное, что существует даже особая молитва о спасении от них.

У дома Банин.

Банин:

– Вот тут я и живу.

– А вы не хотите пригласить меня на кофе?

– Сегодня мы уже вдоволь наговорились. Как-нибудь в другой раз.

– Ловлю вас на слове... Буду ждать.

Комната Банин. Она лежит на диване с раскрытыми глазами, звучат закадровые голоса Бунина и Банин.

Голос Бунина:

– А вы разве не тоскуете по своей бывшей родине, по Баку?

Голос Банин:

– Нисколько. Баку кажется мне далеким, нереальным сном, моя семья же – про-

дуктом моего воображения.

Голос Бунина:

– Наверное, вы счастливый человек. Воспоминания – нечто столь тяжкое, страшное, что существует даже особая молитва о спасении от них.

Возникают вирированные кадры воспоминаний Банин, звучит мугам.

Пейзажи абшеронской дачи Асадуллаевых. По саду проходит маленькая Умм-уль Бану, разглядывая деревья, виноградники, овощи в огороде, цветы. Закадровый голос Банин:

– Тополя были моими братьями, а старейший тополь – моим дедушкой. Я часто разговаривала с ним, за что меня наказывала фрейлейн Анна – наша гувернантка. А старый тополь расточал мне на своем тополином наречии ласковые слова, ласкал меня шепотом своей листвы, и когда я поверяла ему личные тайны, он слушал меня всеми своими листочками. А иногда его листья служили мне железнодорожными билетами. Я по этим билетам уезжала в дальние страны. И еще в саду жил старый виноградный куст, такой раскидистый, что, лежа, я могла полностью уместиться под ним, спрятавшись даже от фрейлейн Анны. Я поверяла и винограду все свои секреты. В каждом уголке сада у меня были свои любимцы – здесь грушевое дерево, там самшит или куст шиповника. Я была счастлива с этими друзьями, в отличие от людей.... Спелые орехи трескались прямо у меня на глазах, падали с дерева, как вот те самые каштаны в Парке Монсури.

Берег Каспийского моря.

Амина, три старшие сестры Банин и кузина Гюльнар купаются в море.

Маленькая Умм-уль Бану лежит на валуне у моря, на краю виноградника, обсаженного тополями.

Голос Банин:

«За моей спиной стояли тополя, а ветер шумел в ветвях деревьев. Он приносил с собой облака, и когда они проплывали над нами, листья тополей шумели сильнее. Облака без конца возникали из-за горизонта, проносились над морем и безвозвратно исчезали за тополиным строем. Появлялось синее небо – высокое, чистое, оно говорило на языке вечности, но тогда я этого не понимала, а просто в эти мгновения была счастлива вдаль от всех. Странное чувство, порой настолько сильное, что я начинала плакать.

Внутренний монолог Банин сопровождается кадрами, пейзажами, соответствующими сказанным словам.

В контрасте с этими словами и ощущениями сестры Банин резвятся, балуются в море, смеются.

Умм-уль Бану играет на рояле сонату Моцарта.

Фрейлейн Анна:

– Ach mein Gott, Ach mein Gott! О мой Бог, не так грубо, это же Моцарт.

Мадмуазель Мари обучает Умм-уль Бану французскому языку. В руках у нее разноцветные карандаши. Показывая красный карандаш:

– C'est un crayon rouge!

(Субтитры: Это красный карандаш.) Повторите.

Умм-уль Бану осторожно повторяет.

Мадмуазель Мари:

– Нет, еще раз. Язык держите между губами.

В городской квартире Асадуллаевых.

Амина:

– Я хочу взять девочек с собой в Париж. Ну, кроме маленькой.

Мирза:

– А почему без Ули?

– Она же еще совсем ребенок. Вот когда хорошо освоит французский, привезешь и ее. Кстати, ты тоже здесь не задерживайся. Все равно вскоре сюда придут большевики и разгонят всех ваших министров.

...Два автомобиля перед домом Асадуллаевых. Прислуга грузит чемоданы. Мирза, Амина, три девочки садятся в автомобили. Из окна грустно следит за ними Умм-уль Бану. Затем идет в свою комнату и, плача, бросается на кровать.

Париж. Комната Банин.

Она лежит на диване и вновь возникают вирированные кадры воспоминаний. Звуки выстрелов. Под пение «Интернационала» по улицам Баку шагают красноармейцы.

Дом Асадуллаевых. Громкий стук в дверь.

Умм-уль Бану вскакивает с постели и мчится на нижний этаж дома. Красноармейцы забирают Мирзу и уходят. Бабушка посылает проклятия в их адрес.

...Гюльнар и Умм-уль Бану.

Гюльнар:

– Потрясающая новость, оказывается, твой будущий муж Джамиль был скрытым агентом большевиков.

Бану:

– С чего ты взяла, что он мой будущий муж?

– А ты не догадывалась? Отчего же он так часто жаловал к вам? И смотрел на тебя влюбленными глазами в перерывах, поедая мороженое с мухами, ха-ха-ха...

– Перестань.

Стук в дверь. Входит Джамиль с представителями новой власти. Они осматривают квартиру. Бабушка быстро набрасывает чадру на головы Умм-уль Бану и Гюльнар. Бабушка (Джамилю):

– Niyə gəlmisən, bunlar kimdi?

(Субтитры: Зачем пришли, кто они?)

– Gərar verilib ki təzə hökumətin bir idarəsi bu evdə yerləşsin. Narahat olmayın. Sizə də İcəri şəhərdə mənzil veriblər, ora köçməlisiniz.

(Субтитры: Решено, что в этом доме будет размещена комендатура новых властей. Не беспокойтесь, вам выделили квартиру в Старом городе, переедете туда).

– Başı batsın təzə hökumətin də, sənin də. Allah bəlanızı versin.

(Субтитры: Проклятье и новой власти, и тебе! Пусть Аллах покарает вас.)

Тюремный двор, переполненный посетителями.

Солдат провожает Умм-уль Бану в другой дворик. Бану видит своего отца, вце-

пившегося в прутья. Он в тюремных лохмотьях, истощенный, с всколоченной бородой. Сквозь прутья протягивает свои исхудавшие руки, Бану, плача, осыпает их поцелуями.

– Перестань плакать, – *говорит Мирза.* – Ну, как там дома, как бабушка?

– Бабушка все время плачет и молится, а нас переселили, – *говорит Бану.* – Каким мерзавцем оказался этот Джамиль. Это он указал им наш дом.

– Не надо так говорить. Джамиль у них на службе, он обещал вытащить меня отсюда. Не вешай нос, все будет хорошо.

Бану испуганно целует руки отца...

Париж. Комната Тэффи.

Тэффи:

– Ну что, в конце концов отпустили его?

– Да.

Тэффи:

– А что с вашим Андреем Болконским? Вы обещали как-то рассказать о нем....

Вирированные кадры:

Баку. На улице Ичери шехер (Старого города) Бану и Гюльнар, укутанные в чадру.

Гюльнар:

– Комиссар приглашает нас в гости (*внезапно прыскает*).

Банин:

– Чему ты смеешься?

– Оглянись, смотри, идет твой будущий муж-мухоголотатель.

Бану, схватив руку Гюльнар, быстро тянет ее в противоположную сторону.

Гюльнар:

– Вот прохвост. Был покеристом, стал чекистом.

Бану:

– Идем отсюда, быстро...

– А знаешь, где живет наш комиссар? В нашем бывшем доме.

Перед бывшим особняком Асадуллаевых. Теперь у парадных дверей стоит красноармеец. Висит красное знамя. Гюльнар что-то говорит красноармейцу, и они проходят вовнутрь.

Дом совершенно изменился. Всюду плакаты, лозунги, прокламации, красные знамена, портреты Ленина, Троцкого. Раздается стук пишущих машинок, ремингтонистки печатают тексты.

Перед внутренним взором Бану возникают картинки прошлого, уже знакомые нам по предыдущим кадрам: молящаяся бабушка, отец, мачеха Амина, сестры в парижских платьях, гости, играющие в покер, уроки музыки, французского языка, Джамиль, глотающий мороженое с мухами...

Из одной двери выходит комиссар и радушно приглашает их в комнату. Строгая рабочая обстановка. В комнате, кроме него, и знакомый нам Григорий.

– А вы сильно повзрослели, – *говорит Григорий.* – Гюльнар, вы – словно растение...немного опасное, хочешь его коснуться, но страшно – боишься уколоться.

– А вы дотроньтесь до меня, – *с лукавством отвечает Гюльнар,* – увидите, что

я не колюсь.

Комиссар пристально смотрит на Бану.

Григорий (Бану):

– Вас я меньше опасаясь, и моя нежность к вам сильнее. Я был бы рад иметь такую дочь. Грустно, что скоро мы должны уехать и оставить вас обеих.

Бану (*взволнованно, Комиссару*):

– И вы тоже уезжаете?

Комиссар:

– К сожалению, да. Пригласили вас попрощаться.

– Ой, не уезжайте, – *воскликает Гюльнар.*

Комиссар все еще пристально смотрит на Бану, нежно берет ее руку.

Григорий (Гюльнар):

– А не хотите ли вы пойти со мной в синема? Крутят американский фильм с Мэри Пикфорд.

Гюльнар:

– С удовольствием.

Григорий:

– А этих голубков оставим наедине. Но ненадолго.

Собираются уходить, Гюльнар подзывает Бану:

– Смотри, не позволяй ему ничего лишнего. Не забывай, что до замужества мы должны сохранять девственность. Вот выйдем замуж, тогда сможем позволить себе все...Наставим рога нашим мужьям. Ха-ха-ха...Ну, не красней, шучу.

Бану:

– Ты сумасшедшая. О чем ты?

– Ты что, ничего не понимаешь, не замечаешь, как он смотрит на тебя?

Париж. Комната Тэффи.

Тэффи:

– Ну и как, вы вняли советам своей кузины?

Банин:

– Ни о чем таком мы и не помышляли. Во всяком случае, я. Я просто смотрела на него, как на свою ожившую мечту об Андрее Болконском. Но вдруг совершенно неожиданно он сказал...

Комната комиссара.

Комиссар:

– Я завтра уезжаю. Не хотели бы поехать со мной в Москву?

– Я? В Москву? С вами?

– А что в этом такого? Я помог бы вам поступить в Университет, а когда вы достигнете совершеннолетия, мы бы поженились. Ведь я холост, и вы мне очень нравитесь. Именно о такой жене я мечтал всю жизнь. Вы так молоды, так трогательно молоды! Мне хотелось бы сделать из вас натуру энергичную, полнокровную, активную в общественной жизни. Хотите вы того?

Комната Тэффи.

Банин:

– У меня кружилась голова. Будто не я сама, а героиня какого-то романа говорила за меня.

Комната комиссара.

Бану:

– Да, я этого хочу, давайте уедем отсюда.

– Вы не пожалеете о своем решении. Пока никому ничего не говорите, оставьте письмо вашим родным. Я возьму два билета. Завтра в три на вокзале. Не опаздывайте.

Комната Тэффи.

Банин:

– Я летела домой, как на крыльях, до конца не осознавая, на какой отчаянный шаг я решилась. Но я считала, что это будет мстью моим сестрам и мачехе, оставившим меня здесь и наслаждающимся Парижем. Мсть самому городу, который вдруг так изменился, стал чужим, холодным, злым...

Баку, квартира Асадуллаевых в Старом Городе. Мирза, по-прежнему импозантный мужчина, в шикарном костюме, обращается к Бану:

– У меня к тебе серьезный разговор. Джамиль просит твоей руки. Что скажешь?

Бану стоит с окаменевшим лицом.

– Ты знаешь, он очень помог мне, вытащил оттуда, а ведь меня могли и расстрелять. Так что, можно сказать, он спас мне жизнь. Ну, чего ты молчишь?

Бану продолжает молчать.

Мирза вытаскивает паспорт:

– Более того, он, можно сказать, совершил чудо, достал мне паспорт, и я уезжаю в Париж.

Бану закрывает лицо руками.

Мирза:

– Он обещал после свадьбы и тебе достать паспорт, и ты тоже приедешь к нам в Париж. Мне кажется, он и сам не прочь сбежать отсюда. С большевиками не так просто, сегодня ты при деле, а завтра могут и расстрелять. Там как-то спокойнее.

Бану поворачивается и уходит.

Комната Тэффи.

Тэффи:

– И вы сдались?

– Как я могла перечить воле отца, тем более отказать человеку, который спас ему жизнь. В тот же день я написала прощальное письмо комиссару.

Баку. Бану в слезах передает письмо Гюльнар:

– Пожалуйста, передай письмо сегодня же.

Бану лежит в своей кровати в прострации. Входит Бабушка:

– Nə olub sənə, balaca? Üç gündü otağından çıxmırsan, yemırsən, içmırsən.

(Субтитры: Ну что с тобой, малышка? Уже третий день не выходишь из своей комнаты, не ешь, не пьешь).

Бану:

– Gölınar gəlmədi?

(Субтитры: Гюльнар не приходила?)

Бабушка:

– O şortunun, qəhbənin adını çəkmə mənim yanımda. Üç gündü hamı dəli olub,

görəsən hardadı, nə oldu buna, bu də demə bir bolşevikə qoşulub qaçıb. Hamısı səhənpəm odunda yansın.

(Субтитры: Не называй при мне имя этой беспутницы, этой маленькой шлюшки. Третий день все сходят с ума, куда же она пропала? А она, оказывается, сбежала с каким-то большевиком. Да попадут все они в геенну огненную!)

...На вокзале Бану и Джамиль провожают Мирзу. Мирза обнимает дочь, шепчет на ухо:

– Прости меня, малышка...прости...если сможешь, – *быстро садится в поезд. Поезд отъезжает, Мирза машет из окна.*

Джамиль:

– Пошли домой, дорогая.

Бану вдруг с яростью набрасывается на него:

– Ненавижу тебя, ненавижу, ненавижу...

Комната Тэффи:

– Да у вас не жизнь, а «Тысяча и одна ночь». Недаром Иван Алексеевич говорит, что вы будто сошли со страниц этой арабской сказки. Кстати, как продвигается дело Бунин-Банин?

– А никак.

– А зря, он, знаете ли, очень переживает, что вы не звоните ему. А мне крайне неприятно, и я несу ответственность, это же я познакомила вас. В 76 лет испытывать такие пылкие чувства, страдать от безответной любви, на это не каждый способен.

– Что ж делать, если я не испытываю такого же чувства к нему, не могу подарить ему это последнее любовное приключение в его жизни...

– Ну, будьте хотя бы чуть поласковой с ним, позвоните. Наговорите ему приятных вещей о его произведениях. Ведь писатели, как кокетливые женщины, так падки на комплименты.

Банин едет на велосипеде по парижским улицам, подъезжает к своему дому, поднимается по лестнице. У дверей слышит телефонный звонок, быстро входит и поднимает трубку.

– Здравствуйте, дорогая Банин Мирзоевна! Мне сказали, что вы звонили мне и, к сожалению, не застали.

– Нет, я не звонила вам... – после паузы: – Правда, собиралась позвонить.

– И на том спасибо, жена сказала, что меня спрашивал какой-то милый женский голос. Значит, это были не вы.

– Не я.

– Прочел ваш роман. Хотелось бы поговорить.

– Да? Буду очень признательна.

– Вы обещали пригласить меня на кофе. Как насчет завтра?

– Приходите.

Комната Банин. Бунин разглядывает портрет комиссара на полке.

Бунин:

– В вашей комнате пахнет мужчиной.

Банин (лаская своего кота):

– Это единственное существо мужского пола в моей жизни.

Бунин (*указывая на портрет*):

– А кто сей господин, позвольте спросить?

– Андрей Болконский.

– Гм... Я 50 раз, да, ровно 50 раз перечитывал «Войну и мир», но не помню, чтобы Толстой описывал Болконского в большевистском одеянии.

Банин (*смеясь*):

– Андреем Болконским его называла я. Эта была моя первая любовь, мне было тогда 15 лет. В последней раз я видела его 25 лет тому назад. Вы ревнивы?

– Весьма. И знаете, к чему я ревную больше всего? К жизни любимых, которая продолжится после моего ухода. Тогда я уже не смогу ревновать, потому ревную за-блоговременно, так сказать, авансом.

– Любопытно. Вы, кажется, говорили, что ознакомились с моим романом.

– Да, весьма недурственно. Но начну с критики. У вас там есть такая фраза: «Vive notre Sainte Eglise et notre cher pays, termina-t-il en levant son verre». Свет моих очей, но ни один русский не мог произнести такую фразу, мол, «выпьем за Святую церковь». Это было бы кощунством. Это все равно, как если бы мусульманин воскликнул: Выпьем за Аллаха!

– Спасибо. Вы совершенно правы. В отличие от вас, я критику принимаю с благодарностью и непременно исправлю это в новом издании.

Приносит две чашки кофе, Бунин пьет.

– Кофе превосходен.

Тягостная пауза.

Банин:

– Расскажите подробно, как вы получили Нобелевскую премию, или, вернее, как узнали, что она присуждена вам. Как вы реагировали на это известие? Наверное, очень обрадовались.

Бунин (*задумчиво*):

– Нобелевская премия...Знаете, больше меня обрадовались мои соотечественники, живущие в Париже. Есть такой писатель-эмигрант Борис Зайцев.

– Знаю.

– Так вот, он потом рассказывал мне, что когда узнал о премии, обошел все быстро Парижа и пил за мое здоровье. Видите ли, мы – эмигранты, здесь, вроде бы, последние люди, которых приютили из жалости. И в это время русскому писателю, да, русскому писателю, причем, живущему не в России, а здесь, присуждают такую премию. Все радовались, ну, может быть, кроме самых завистливых.

– И все же, при каких обстоятельствах вы узнали об этом?

– Я, конечно, знал, что выдвинут, но мало надеялся. В тот вечер пошел в си-нема. Показывали какую-то ерунду. Но там снялась дочь Куприна, Киса. Я помнил ее совсем маленькой девочкой и мне было любопытно, какой она стала.

...Зал небольшого кинотеатра. Бунин смотрит на экран. Кадры немого фильма. Кто-то ходит по рядам с фонариком, подходит к Бунину, что-то шепчет ему на ухо.

Комната Банин. Бунин:

– Сказали, что телефон из Стокгольма. Пошел домой, сожалея, что не удалось

досмотреть, как будет играть Киса.

– Вы хотите сказать, что вам была совершенно безразлична эта премия?

– Нет, конечно. Дальше была волшебная сказка: путешествия, приемы, почести, слава, деньги. Моя жена, сопровождавшая меня, была объявлена «самой красивой женщиной в русской эмиграции», а я самым...

– Самым красивым мужчиной в мире?

– Издевайтесь, сколько хотите, это уже не может помешать мне быть в те времена красивым мужчиной.

– Вы и сейчас красивы.

Бунин улыбается.

Банин:

– Как все-таки повезло вам с этой премией!

– Почему повезло? Я заслужил ее больше, чем любой другой писатель на свете. Из всех живых писателей, я – самый крупный.

Воспоминания Бунина.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ, ЕСЛИ СОХРАНИЛИСЬ, ХРОНИКАЛЬНЫЕ КАДРЫ ПРИСУЖДЕНИЯ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ БУНИНУ. ЕСЛИ ИХ НЕТ, ТО МОЖНО СДЕЛАТЬ МОНТАЖ ИЗ РАЗНЫХ ЦЕРЕМОНИЙ ПРИСУЖДЕНИЯ ЭТОЙ ПРЕМИИ С ВКРАПЛЕНИЕМ АКТЕРА, ИСПОЛНЯЮЩЕГО РОЛЬ БУНИНА В НАШЕМ ФИЛЬМЕ.

Комната Банин.

Банин:

– Вы говорите об этом так, будто Нобелевская премия и вообще слава для вас ничего не значат.

– Что значит слава, душа моя? «Ну, хорошо, будешь ты славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире – ну и что ж», говорил Толстой. ...Знаете, что мне говорил Лев Николаевич? Я пришел к нему молодой, тогда в самом деле красивый, он пронизательно так посмотрел на меня и сказал: пишите, пишите, если очень хочется, только помните, что это никак не может быть целью жизни. Счастья в жизни нет, есть только зарницы его – цените их, живите ими... Тогда я этого не понимал. Позже понял. Ведь что такое счастье? Никто этого не знает. Мы можем только предчувствовать его, схватить его невозможно, и когда мы думаем, что держим его в руках, глядишь, оно уже испорчено – то болью, то ностальгией, то смертью ближнего. Я жду его всегда, – *вынимает папиросу.* – У вас можно курить?

– Пожалуйста.

Бунин:

– Я всегда жду письма, которое должно принести мне чудо счастья. Не смотрите на меня так недоверчиво. Да, и в моем возрасте я жду чуда счастья. Когда я получаю письмо и вижу незнакомый почерк, сердце начинает колотиться. С нетерпением разрываю конверт – и никогда ничего не оказывается. Кто-то восторгается, кто-то просит помощи, кто-то жалуется на свою жизнь. И все.

– Еще кофе?

– Нет, спасибо. А как вам удалось вырваться из лап большевиков, каким образом оказались в Париже?

Банин:

– С паспортом помог муж. Фактически мы с ним не жили, и когда он понял, что никогда и не будем жить, он помог мне перебраться во Францию, к отцу.

Бакинский вокзал. Джамиль провожает Банин. Джамиль:

– Я знаю, что ты меня не любишь, но ты не забудешь меня, правда? Ты напишешь мне?

Банин (холодно):

– Конечно...

– Ведь я был влюблен в тебя с самого твоего детства. У тебя были такие длинные локоны.

Банин молчит.

Джамиль:

– Ведь даже такой человек, как я, имеет право любить.

Банин молчит.

Джамиль:

– За шесть месяцев нашего брака ты ни разу даже не поцеловала меня.

Звучит гонг к отправлению поезда, Банин протягивает руку Джамилю и идет к поезду, поднимается в вагон. Смотрит на совершенно убитого Джамиля, выходит из вагона, подходит к нему, быстро целует его в лоб и еле успевает сесть в отъезжающий поезд.

Из движущегося поезда Банин смотрит в окно. Джамиль идет рядом с вагоном, поезд набирает скорость, он бежит, превращается в смазанную массу. Банин видит в окне не Джамиля, а сцены, пейзажи, знакомые нам по предыдущим кадрам: абшеронскую дачу, песчаный валун, тополя и виноградники, море, купающихся сестер, Гюльнар, бабушку, Комиссара – все, с чем она прощается навсегда.

Комната Банин в Париже. Теперь она одна. Стук в дверь. Посыльный вручает ей письмо, она читает.

Звучит закадровый голос Бунина:

«Дорогая, добрая газель, паки и паки (это по церковно-славянски значит: опять и опять) благодарю вас за вашу любезность. Придя от вас, я почувствовал сильный озноб, смерил температуру, оказалось 39,7. Выпил рому, принял аспирин, хорошо заснул. По-прежнему обожаю вас, но все еще чувствую полынь в душе – от того, как слабо вы оценили мои рассказы. Боюсь, что вы истолкуете неверно, подумаете, что я огорчился из честолюбия. Нет, я огорчился за ваше равнодушие к художественной стороне нашего ремесла. За всем тем имею честь кланяться. Ваш старый собрат по перу. Чок якши!

Банин (улыбаясь):

– Чок якши – очень хорошо. Уже стал писать на азербайджанском...

Телефонный звонок. Банин:

– Алло!

Бунин:

– Здравствуйте, это я. Получили мое письмо?

– Получила. Но вы зря считаете, что я слабо оценила ваши рассказы. Наоборот, они мне очень понравились, просто я не умею говорить цветистые комплименты мэтрам. Могу сказать просто: чок якшы. Вы уже выздоровели?

– Спасибо, моя дорогая, вполне здоров. Хочу пригласить вас на свой вечер в воскресенье, я буду читать исключительно для вашей милости.

...Зал Дебюсси с трудом вмещает всех поклонников Бунина, это, в основном, русские. Ставят дополнительные стулья, даже на эстраде, вокруг стола выступающего. Бунин, «прямой, как свеча, внушительный, как король», величественно появляется в зале под грохот аплодисментов.

Банин сидит в первом ряду, как раз напротив Бунина. Бунин одет безукоризненно. Снежная белизна волос, изысканная элегантность придают ему неотразимое обаяние. Поклонившись публике, начинает читать стихи. У него отличная дикция. Читает не слишком быстро, не слишком медленно, сдержанно. Время от времени посылает Банин улыбку. При каждой паузе зал взрывается бурей аплодисментов.

*И вечер, дождик, и мгла
Над холодной пустыней воды.
Здесь жизнь до весны умерла,
До весны опустели сады.
Я на даче один. Мне темно
За мольбертом, и дует в окно.*

*Вчера ты была у меня,
Но тебе уж тоскливо со мной.
Под вечер ненастного дня
Ты мне стала казаться женой.
Что ж, прощай! Как-нибудь до весны
Проживу я один – без жены...*

*Сегодня идут без конца
Те же тучи – гряда за грядой.
Твой след под дождем у крыльца
Расплылся, налился водой.
И мне больно глядет одному.
В предвечернюю серую тьму*

*Мне крикнуть хотелось вослед:
«Воротись, я сроднился с тобой!»
Но для женщины прошлого нет:
Разлюбила – и стал ей чужой.
Что ж! Камин затоплю, буду пить...
Хорошо бы собаку купить.*

По окончании вечера Бунин знакомит Банин со своей женой Верой Николаевной. Вера Николаевна (любезно):

– Очень рада, Иван Алексеевич так много рассказывал о вас, и только самое хорошее. Один из наших богатых соотечественников, а это редкий случай, приглашает нас в ресторан. Не откажите в любезности присоединиться к нам.

Банин:

– Но сам Иван Алексеевич ничего не говорит об этом, может, ему будет не-

приятно...

– Что вы, милочка? Он будет просто счастлив...

Бунины – Иван Алексеевич, Вера Николаевна и Банин едут в такси.

Бунин, обращаясь к водителю такси:

– Ну, как вы, граф?

– А как мне быть, Иван Алексеевич. Старость – не радость.

Бунин:

– Что вы хотите? Все мы рано или поздно стареем. Рождаемся детьми, а умираем стариками.

– Тоже верно. Вот и приехали.

Бунин пытается заплатить.

Водитель:

– Не беспокойтесь, уже уплачено.

Выходят из такси у русского ресторана «Распутин».

Банин:

– Почему вы назвали его графом?

Бунин:

– А он и есть граф, причем самый настоящий.

Ресторан в стиле «а ля рюс»...Танцуют и поют цыгане, выступают певцы. Грустные песни, полные тоски по Родине. Среди гостей и Тэффи.

– Вы были великолепно, – шепчет Бунину Банин. – Оказывается, вы еще и великий актер. Недаром Станиславский предлагал вам сыграть Гамлета.

Бунин (*удивленно*):

– Вы даже об этом знаете?

– Я многое знаю про вас, больше, чем вы предполагаете...

Гости пьют, едят, тут и там возникают беспорядочные разговоры...

– Леон Доде, а ведь французы считают его великим критиком, имел наглость как то сказать, что «Толстой все-таки варвар».

– А чем вы возмущаетесь, если де Ренье говорил о Дантесе: *Que voulez-vous!* То есть, ведь и Пушкин мог убить его.

– Какая неделикатность, какое хамство.

– Говорят, холод и голод будущей зимы унесет половину населения России.

– Все-таки хорошо, что усач одолел этого бестию Гитлера.

– Вы слышали, Ивана Алесеевича приглашают в Россию.

– Ну и ну...Вот будет потеха, если поедет. Что он будет там делать, возлагать цветы к мавзолею Ленина?

– Живем мы, так называемые «ле рюссы», странной жизнью. Держимся вроде вместе, но каждый «ле рюсс» ненавидит всех остальных.

– Русские, или, как изволили выразиться вы, «ле рюссы», разделяются на две категории: на продающих Россию и спасающих ее.

– Вы же знаете, еще Тютчев сказал, что умом Россию не понять, а так как другого органа для понимания в человеческом организме нет, то и остается махнуть рукой.

– Французы раздражают своей меркантильностью. Теперь мы узнали их слыш-

ком хорошо. Каждый день приходится вступать в контакт то с консьержкой, то с прислугой, то с приказчиком в магазинах. И ничего, кроме грубого, материального расчета в этих людях не встретишь. Как нам ужиться с ними, нам, давшим миру Толстого и Достоевского?

Сосед справа, обращаясь к Банин:

– Вы ведь с Кавказа, так? А вы говорите по-мусульмански?

– Нет такого языка – мусульманский. Мой язык – азери.

Сосед (удивленно):

– Вон оно что. Не знал, что есть такой язык, вы уж извините.

Тэффи (Банин):

– Не удивляйтесь, милочка. Когда русские собираются вместе, они начинают перемывать косточки всем, особенно французам. Русским хочется быть только среди своих.

Банин:

– Еще немного и провозгласят лозунг: «Франция для русских!»

Тэффи (смеясь):

– Все возможно.

Банин:

– А почему Иван Алексеевич такой хмурый, да еще в день своего триумфа?

Тэффи:

– А потому, что мы все раздражаем его. Ему хочется только одного – остаться с вами наедине.

– Да будет вам, он так внимателен к своей жене.

– Разумеется, он обожает ее, души в ней не чаёт, что, однако, не мешает ему флиртовать с другими женщинами. В этом весь Бунин. Главное на свете – его удовольствие. Приголубьте его немного, и он растает.

Гости начинают расходиться.

Банин подходит к Бунину:

– Спасибо за дивный вечер, Иван Алексеевич. Вы сегодня были просто великолепны. Жаль, что не встретила вас тридцать – двадцать лет назад, вы стоите всех Гете на свете. Ваша душа восхитительно молода. Я в восторге от вас.

Бунин:

– Ах вы, моя ласковая газель, когда вы такая мягкая, с вами не может сравниться ни одна женщина в мире. Давайте поедем к нам, продолжим наш вечер, но без всей этой публики. И Вера Николаевна будет рада.

В квартире Буниных.

Вера Николаевна:

– Иван Алексеевич говорил, что вам очень понравились «Темные аллеи». Я так рада, это моя любимая вещь.

Бунин:

– И моя.

Вера Николаевна:

– Особенно, если учесть, когда она писалась. В первый же день оккупации Франции к нам пришли с обыском. Мы страшно бедствовали, иногда только один чай

с сухарями на весь день. И Россия в беде, кругом разруха, смерть, нищета. А в это время Иван Алексеевич пишет чудесные рассказы о любви и о прежней России. Нам хотелось уйти в другой мир, в другое время, где не льется кровь, где не сжигают людей живьем. Иван Алексеевич писал, и это помогло нам перенести почти непереносимое. Я поражалась, как можно было писать при таких обстоятельствах.

Бунин:

– Писательство – самая странная профессия из всех человеческих дел: если даже вам не о чем писать, надо писать об этом – о том, что не о чем писать. Иногда за все утро мне удается написать несколько строк, да еще ценой таких усилий. Всю жизнь я страдал от неспособности выразить то, что хочу. А вы, моя райская гурия, упрекаете меня в самовлюбленности, в нарциссизме.

– Я никогда этого не говорила.

– Но, признайтесь, думали так.

– Ничего подобного.

Вера Николаевна:

– Не спорьте, чай остыл, сейчас принесу горячий, – уходит в кухню.

Банин:

– Ну, как вы решили, когда едете в СССР?

– А я еще ничего не решил.

– А что вам там обещают?

– Да все... Золотой дождь, одну дачу в окрестностях Москвы, другую в Крыму. Почести, славу, любовь молодого поколения...

Банин:

– Почему бы не признаться, что вам обещали гарем, где каждая республика будет представлена красоткой, избранной на конкурсе красоты?

– Смейтесь, дорогая моя, если я соглашусь вернуться, хотя бы на время, мне это не помешает быть и там знаменитым писателем. Меня будут ласкать и осыпать золотом.

– Так зачем же задержка? Как, должно быть, приятно шагать по золотому мосту!

– Для такой большевички, как вы, – может быть.

– Дорогой Иван Алексеевич. Вам с Верой Николаевной надо обязательно поехать в Москву и взять меня с собой секретаршей. Ведь там многое изменилось, наконец, есть и немало хорошего. Я вот вчера смотрела фильм про Узбекистан.

– И вы верите этой пропаганде?

– Крупный виноград в Узбекистане растет не по указанию большевиков, роскошные плодородные долины на месте прежней пустыни – это же не декорация.

– Итак, отныне вы убежденная большевичка.

– Ах, как я узнаю эту психологию белых русских: если признаешь хоть что-нибудь советское достойным уважения, вас тотчас причисляют к красным. Неужели вы не способны быть объективным? А ведь это не по-христиански...

– Что? Так вы будете учить меня христианской морали, вы, мусульманка?

– Просто я хочу напомнить, что ненависть всегда слепа.

– При чем тут ненависть? Виноград рос в Узбекистане и 50, и 100 и 1000 лет назад. Каспийское море шумело, зеленело и до Карла Маркса и Ленина. Кстати, вы писали мне об узбекском романе: «Перелистывая его, он мне показался занятым».

Кто кого перелистывал? Выходит, что он сам себя. Учитесь писать по-русски.

– Спасибо за урок. Но я не русская, и писать по-русски не хочу.

– Кстати, неплохо было бы вам поменять имя. Все будут думать, что Банин – от слова баня.

– Конечно, вам хотелось бы, чтобы я называла себя Машей, Дашей или Кашей...

Входит Вера Николаевна с чаем. Видит их напряженные лица.

– О чем вы спорите?

Бунин (*раздраженно*):

– Да ни о чем. Выйду, покурю.

Выходит.

Вера Николаевна:

– Не сердитесь на него, дорогая. Он ведь большой ребенок. Рассердится по поводу пустяка, а через час забудет. Никогда не держит зла в душе.

...Квартира Банин. Стук в дверь. Открывает. В дверях Бунин.

Бунин:

– Простите, пожалуйста, что без звонка и без приглашения.

– Заходите. А почему не позвонили?

– Боялся, что вы не захотите меня принять.

– С чего бы это вас не принимать?

– Ну, я думал, вы, может быть, обиделись. Я был недостаточно учтив с вами у нас дома.

– Да нет, я уже привыкла к вашему характеру.

– И каков же, по-вашему, мой характер?

– Тиранический. Меня порой возмущают ваши взгляды. Но тут нет ни вашей, ни моей вины. Мы просто совершенно разные.

– В чем же мы разные?

– А в том, что вы упорно сопротивляетесь всему, что исходит от Европы, и, главное, от Франции. А это – моя страна, она приютила меня, как, впрочем, и вас.

– И это говорите вы, имея тюрко-персо-монголо-азербайджанские корни? Вы, выходит, обладаете европейской тонкостью, а я, выходец из старинной русской дворянской семьи, не способен воспринимать мировую культуру, то есть, Запад?

– Конечно, вы, великий писатель земли русской, одарили лучами своей славы такую серую посредственность, как я...

– И не стыдно вам так жестоко обращаться со стариком?

– Ах, хватит шантажировать меня своим возрастом. Вы что, считаете, что я должна попеременно то забывать про ваши годы, то приходить от них в умиление? Нет уж, что-нибудь одно.

– Никогда в жизни я не встречал такой злющей женщины, как вы.

– Вы пришли сообщить мне эту приятную новость?

– Нет, я пришел по совсем другому поводу. Вы слышали про знаменитого поэта Константина Симонова?

– Конечно

– Так вот, он с женой, а она у него тоже известная актриса и неопикуемая красавица, были на Каннском фестивале, а сейчас приехали в Париж, специально, чтобы встретиться со мной.

– Поздравляю вас. Замечательно. А при чем здесь я?

- А что мне будет, если я познакомлю вас с Симоновыми?
- Я считала, что бескорыстие – признак высокого строя души. Но, поскольку это не ваш случай, вы получите...ну, скажем...поцелуй.
- Я бы съел вас живьем.

У дома Бунин. Подъезжает сверкающая черным лаком огромная машина американской марки, из нее выходят Бунин и жена Симонова Валентина Серова. Бунин знакомит их.

Серова:

- Валентина Серова. Очень рада нашему знакомству.

Константин Симонов встречается их у входа в зал Дебюсси.

Бунин (*шепотом Банин*):

- Признайтесь, мадам Симонова хороша.
- Верно.

Симонов читает со сцены свои стихи.

В зале Бунин и Банин сидят рядом.

Банин (*на ухо Бунину*):

- Я по горло сыта стихами.

Бунин (*просияв*):

- Я только что хотел вам это сказать.

Вечер заканчивается под бурные аплодисменты.

Бунин:

- Симонов приглашает нас в ресторан.

В ресторане.

Банин сидит между Буниним и Тэффи.

Тэффи (*тихо*):

- Вы заметили, как изысканно одета мадам Симонова. И все из «Галери Лафайет».

Тэффи:

- Как вам Каннский фестиваль?

Серова:

- Никогда не видела такой противной публики. Понаехали из Америки, из Англии, англичан было особенно много. Они разгуливали с таким высокомерным видом, как будто это они выиграли войну. – *Обращается к Банин*: – Вы ведь с Кавказа. А не думаете возвращаться на Родину?

– Я уехала из Союза такой молодой, что прошлое совсем стерлось из моей памяти. К тому же, думаю, Советский Союз не очень страдает без меня.

– Он, конечно, не страдает, но знаете ли вы, что утратили? Наша страна так прекрасна, наверное, это самая красивая страна в мире. А знаете, как живут у нас писатели? Прекрасно.

- Если они ведут себя как паиньки, – *шепнула на ухо Банин Тэффи*.

Симонов подхватывает разговор:

– Иван Алексеевич, мы договорились с рестораном, здесь на столе все наше, российское...советское... прислали из Москвы самолетом.

Бунин (удовлетворенно смотрит на Банин):

– Вот как?

Симонов:

– Попробуйте наши вина, Иван Алексеевич, сравните с французскими, думаю, сравнение будет не в их пользу.

Бунин:

– Даже так? Вы всерьез утверждаете, что красные вина (*делает ударение на слове «красные»*) превосходят французские?

– Именно так, – *вмешивается в разговор Серова*. – А вы попробуйте и оцените. Вы даже не представляете, какого прогресса мы достигли в области сельского хозяйства и особенно виноделия.

Бунин:

– А что, солнце тоже встало на стахановскую вахту и греет жарче, чем при царизме?

Все сдержанно смеются.

Серова:

– Ну зачем вы так, Иван Алексеевич?

Бунин:

– Простите, неудачная шутка, – *показывая на икру*: – будьте любезны, передайте мне этот буржуазный предрассудок. А социалистическая колбаса, пожалуй, не хуже капиталистической, а, Надежда Александровна?

...Комната Банин.

Бунин:

– Знаете, что сказала мадам Симонова о вас?

– Откуда мне знать?

– Она считает, что вы слишком шумная и претенциозная. В особенности возмутилась тем, как вы ужасно обращаетесь со мной. «Как она смеет так вести себя с вами?» – сказала она.

– Как же я вела себя?

– Мадам Симонова никак не могла понять, зачем я ухаживаю за такой немолодой дамой, при том, что она даже не в состоянии меня оценить.

– Иначе говоря, она считает, что вы слишком стары для меня?

– Наоборот, она считает, что вы слишком стары для меня.

– А вы уточнили нашу разницу в годах? Она догадывается, что вы старше меня на сорок лет?

– Только не начинайте опять пересчитывать наши годы. Южанки стареют рано.

– Пьяницы тоже.

– Вы видели меня хоть раз пьяным?

– Нет. Ну, а вы? Вы хоть защитили меня? Вы же утверждаете, что любите меня.

– Конечно, я хотел защитить вас, но тщетно, она ненавидит вас. Ее сжигает ревность.

– Ах, вот оно что? Она, конечно же, влюблена в неотразимого Нарцисса Ива-

новича Бунина?

– Во всяком случае, она меня почитает и хотела бы окружить вниманием, а я на вечере ухаживал только за вами. Это было, конечно, неправильно.

– А как насчет вашей поездки в Москву?

– Этот вопрос куда сложнее, чем вы себе представляете. Чем больше я об этом думаю, тем труднее мне решить: отказаться от своих убеждений – ради материальных благ?

– Ваши убеждения не мешают вам, однако, флиртовать с Симоновыми – а они ведь рупор режима, который вы ненавидите.

– Мы умеем быть великодушными, мы, несчастные эмигранты, не таим злобы и рады успехам наших бывших врагов.

– Не так уж вы несчастны, если с такой настойчивостью приглашают вас враги, даже целый самолет провизии послали.

– Они просто хотят воспользоваться моим именем, чтобы завлечь других...И не только писателей.

Банин (неожиданно ласково):

– Иван Алексеевич, милый, не отказывайтесь от приглашения. Не повесят же вас на Красной площади? Возьмите и меня с собой, и я буду рабыней у ваших ног.

Бунин (мягко):

– Не представляю вас рабыней, хотя сам не прочь был бы быть Крымским ханом. Ах, джанум, почему вы не всегда такая милая? Мы бы не цапались постоянно и были бы счастливы.

– Ну, Иван Алексеевич, будьте душечкой, примите приглашение...

– Гм... А вы помните, что за вами долг?

– Какой долг?

– Вы обещали мне поцелуй, если я познакомлю вас с Симоновыми.

Банин подходит к Бунину, целует его в щеку.

Бунин резко хватает лицо Банин руками и впивается в ее губы. Задыхаясь, она еле вырывается.

– Уходите!

– Не надо изображать недотрогу. Вы чересчур интеллектуальны для этого.

– Иначе что я делала бы в обществе старца? Я бы давно была в объятиях молодого балбеса красивой наружности.

– Кстати, о красивой наружности, при трезвом рассуждении, вы даже не хорошенькая. Ваш нос утолщается внизу, и это все портит, ноздри – большие и черные, как у лошади. У вас безобразные губы – тонкие, злые. Глаза? Вы сами говорили, что на Кавказе даже у собак красивые глаза.

– Вы все сказали? Я рада, что ваша любовь так быстро превратилась в ненависть. А теперь уходите.

– Любовь не превращается то в одно, то в другое. А что, вы так уж хотите от меня избавиться?

– Наоборот, я хочу избавить вас от себя. Я ж все время наношу вам раны. Вы правы, я действительно злая, к тому же некрасивая, безобразная. А теперь, пожалуйста, покиньте мой дом.

– Вы не любите меня больше?

– А я разве говорила, что люблю вас? Прошу, умоляю вас, уходите.

– Хорошо, еще никто и никогда не выставлял меня за дверь.

С возмущением уходит, хлопнув дверью.

Экран разделен на две части. Банин и Тэффи говорят по телефону.

Тэффи:

– Послушайте, дорогая, он все это выдумал от начала до конца. Симонова говорила мне о вас с большой теплотой, она находит вас очень милой. А Бунин выдумал это, чтобы вызвать вашу ревность. Совсем потерял голову старик. И о вашей внешности – тоже от злости, что вы не отвечаете ему взаимностью. Он полагает, что если он в вас влюблен, то вы просто обязаны оценить свое счастье.

– Не слишком ли он любвеобилен в этом возрасте? Уверена, если бы мадам Симонова была бы свободна, он стал бы увиваться и за ней.

Тэффи (*смеясь*):

– Что же, это великий Бунин, надо принимать его таким, каков он есть. Сколько писем он вам написал?

– Не знаю, наверное, более тридцати.

– Ни в коем случае не возвращайте их. Я уверена, он потребует этого. И не сомневайтесь, под каким-нибудь предлогом снова захочет встретиться.

...Бунин и Банин в парке Монсури. Бунин одет с иголочки, выглаженный, накрахмаленный. Поверх рубашки легкая белая куртка под цвет его волос.

Банин:

– Я согласилась прийти только потому, что вы сказали, у вас что-то очень важное. Слушаю вас.

– Вы красивы, джанум, очень красивы.

– Вы так настойчиво вызывали меня, чтобы сказать это?

– Да, да, вы очень красивая.

– Я красивая? А нос, который кончается утолщением, а губы, тонкие и злые?

– Ха-ха-ха... разве вы не поняли, что я тогда только шутил, хотел позлить вас.

Я не говорю, что у вас классическая красота, но в вас есть кое-что, что может сводить с ума.

– «Вы не красавица, но»... что же, это лучше чем «вы красавица, но»...

– К тому же у вас такой живой ум... все схватываете на лету. И еще у вас есть литературное чутье.

Банин с удивлением смотрит на него.

Бунин:

– Мой покорный ягненок, я принес вам книгу, которая, надеюсь, вас заинтересует хоть немножко. В ней говорится о вашем покорном слуге.

– Это, конечно, хвалебная книга, иначе вы не принесли бы ее мне?

– Злая газель, почему вы требуете от меня, чтоб я был святым. Разве не естественно, что я хочу получше выглядеть в ваших глазах. Хотя я знаю, что вы не одобрите мое решение.

– Какое решение?

– Я решил все же не ехать в Россию. Видите ли, я не могу жить в стране, где Сталин контролирует не только литературу, культуру, но и совесть людей. Вы, на-

верное, осуждаете меня.

– Наоборот, я горжусь вами. Вы не изменили себе, несмотря на все посулы.

– Правда? Как я рад, что вы наконец поняли меня. Ведь, в концов концов, есть и другие страны, мы могли бы поехать, скажем, в Италию. Вы ведь никогда не были там. Рим, Флоренция, Ассизи?

Внутренний голос Банин:

«Блажен, кто верует. Какая там Италия, если ни разу не пригласил меня в ресторан и ни разу не преподнес мне даже маленький букет цветов?»

Бунин:

– Знаете, что мне пришло в голову? Почему бы мне не написать статью о вас? Мне удовольствие, а вам реклама.

– Вы это серьезно?

– Вполне.

– Что ж, буду вам очень признательна. Великий Бунин удостоил меня своим вниманием.

Внутренний голос Банин:

«Да никогда он ничего не напишет обо мне. Это он говорит просто, чтобы вернуть меня».

Бунин:

– Послушайте, как поют птички...Жизнь прекрасна, хоть и кончается смертью

...Квартира Банин.

Телефонный звонок.

Банин (в трубку):

– Нет, Иван Алексеевич, никак не могу принять вас. У меня страшный грипп. Еще заразитесь.

Вешает трубку. Сидит, задумавшись, затем начинает писать.

Звучит ее внутренний голос:

«Наверное, мы больше никогда не встретимся. Я чувствую себя опустошенной, измученной. Его можно было ненавидеть, но нельзя было не восхищаться молодостью его духа. Не увлеклась ли и я им немножко? Во всяком случае, привыкла как-то к его визитам, звонкам, письмам. Порой я испытываю большую нежность к этому старцу, непомерно одаренному любовью и страданиями. Порой он раздражает меня своими амбициями. Мне хотелось любить его, но я знала, что это невозможно. Никто не властен полюбить по принуждению. И вот он ушел из моей жизни. Навсегда. Эти полтора года завершились ничем. А может, стоит позвонить ему?».

Откладывает перо. Берет трубку, набирает номер.

Стук в дверь.

Открывает дверь. В дверях Гюльнар, естественно, в том же возрасте, что и Банин. От удивления у Банин отвисает челюсть.

– Гюльнар, – еле выговаривает она.

– Она самая. Ну, здравствуй, может, пропустишь?

Входят.

Гюльнар:

– Ну, давай же поцелуемся, столько лет не виделись, – *хочет поцеловать, Банин отстраняется.*

Гюльнар:

– Ты все еще дуешься, что я уехала тогда с комиссаром. Но ведь это было 25 лет тому назад.

– Предательство не подвластно годам.

– Какое же это предательство? Ты сама предала его, не явилась, как обещала. Он был в отчаянии. Пришлось мне утешать его.

– Ничего себе утешение.

– Успокойся, он любил только тебя, был со мной, но все время думал и говорил только о тебе. Через месяц мы расстались.

– А где он теперь?

– Я слышала, погиб на войне.

– А как ты нашла меня?

– Очень просто, ты же стала известной писательницей. Когда-то и я хотела стать писательницей, но не стала. Я предпочитаю переживать романы, а не писать их.

– Расскажи о себе.

– Что рассказывать? Всего, что было в моей жизни, хватило бы на десять романов. Войну пережила в Швейцарии. Спасибо Отто – это мой последний муж, оставил мне целое состояние. Теперь вот я в Париже и могу безбедно жить. А что ты, замужем?

– Да.

– И кто твой муж, француз?

– Азербайджанец, ты его знаешь, Джамиль.

Гюльнар (*изумленно*):

– Мухолов? И он здесь?

– Нет, он там, в Баку. Мы не виделись двадцать лет.

– И ты полагаешь, что ты замужем?

– Официально мы не разводились.

Гюльнар (*фыркает*):

– Официально...Ну, хоть любовник, или любовники у тебя есть?

– Нет у меня любовников.

– Ты все такая же, не от мира сего. – Показывая на фотографию Комиссара: – Хранишь верность ему?

– Не глумись, просто я не встретила никого, с кем хотела бы иметь хоть какие-либо отношения.

– Ну, эту заботу оставь мне, я познакомлю тебя со своими друзьями. Есть у меня друг – художник, испанец, вылитый Кларк Гейбл.

– А почему же ты сама не...

– А у меня на примете другой. Французский аристократ, граф. Со своим фамильным замком в долине Луары.

– Ты хочешь стать его любовницей?

– Почему любовницей? Через три месяца я стану его женой, графиней Монтферже. Правда, он сам об этом пока не знает.

– Но почему тогда через три месяца?

– А потому что его обработку я планирую на три месяца. Надо ведь еще уломать его мать, старую каргу, чтобы она приняла в их благородное семейство голубых кровей азиатку без роду и племени.

– И как ты думаешь это сделать?

– А это ты увидишь. А как ваши? Отец, сестры?

– Отец умер, сестры замужем. У каждой семья, дети. Мы редко общаемся.

– Ты же всегда была Золушкой. И чем ты занималась все эти годы, писала?

– Кем я только не была – продавщицей, секретаршей, манекенщицей.

Гюльнар (*разглядывая ее*):

– Даже манекенщицей?

– Представь себе. Переводила с немецкого, английского, русского. Перевела даже Достоевского. Потом сама стала писать.

– Ну, молодец. Кстати, завтра день моего рождения, знаю, знаю, ты помнишь, мой день рождения в апреле. Но я так сказала графу. И завтра мы отмечаем это в ресторане «Богема» на Монмартре. Будет и тот самый испанский художник, Хуан. Я познакомлю вас.

...Монмартр. На площади Терт художники рисуют портреты с натуры. Ресторан «Богема». Артистическая обстановка.

За столиком Банин, Гюльнар, художник Хуан.

Хуан (Банин):

– Вам уже говорили, что у вас изумительное лицо? Этот овал, эти краски, эти глаза... всю жизнь писал бы вас и всякий раз по-другому.

Гюльнар:

– Я же говорила, Хуан у нас увлекающаяся натура. . .

Подходит цветочница, Хуан покупает красные розы и дарит Банин и Гюльнар. Разглядывает Банин с цветком.

– Один портрет уже готов: «Кармен с розой».

Входит граф Монтферже, мужчина в летах, не очень приятной наружности, целует ручки дамам, здоровается с Хуаном:

– Тысяча извинений за опоздание. Меня задержал ювелир... Несравненная Гюльнар-ханум, поздравляю вас с днем рождения, примите этот небольшой подарок в знак моего глубокого уважения и восхищения. – *Вытаскивает из кармана коробку и протягивает Гюльнар. Гюльнар раскрывает коробку – видит бриллиантовое ожерелье и бледнеет.*

Гюльнар (*с возмущением*):

– Да как вы посмели, граф?

Опешивший граф:

– А в чем дело, дорогая, вам не понравилось?

– Я не могу принимать такие дорогие подарки от человека, с которым едва знакома.

Граф ошеломлен.

Гюльнар:

– Мосье, я и не знала, что вы на самом деле обо мне думаете. Не знала, что вы считаете меня женщиной, которую можно купить драгоценностями, – *с возмущением встает и пытается выйти из ресторана. Граф бросается за ней.*

Хуан (Банин):

– Ну, актриса... ну, актриса... сама божественная Сара Бернар позавидовала бы ей.

Граф (настигая Гюльнар):

– Умоляю вас, простите меня. Я не думал, что вы так превратно истолкуете мой чисто дружеский и совершенно бескорыстный жест. Прошу вас, вернемся в ресторан. Позвольте хоть угостить вас и ваших друзей ужином.

Гюльнар:

– Коробку вашу спрячьте подальше. Я прощаю вас только потому, что вы, очевидно, не знаете наших обычаев. У нас такой подарок малознакомой женщине сочли бы за оскорбление, которое смывается только кровью.

Возвращаются в ресторан. Гюльнар незаметно подмигивает Банин.

...Мастерская Хуана. Банин позирует. Хуан рисует ее портрет. Закончив, подходит к ней, целуются.

– И еще я мечтаю написать тебя у моря. Поедем на Юг?

Пустая квартира Банин. Звонит телефон.

...Бунин и Тэффи. Бунин спрашивает, Тэффи пожимает плечами, мол, не знаю. Бунин стучит в дверь квартиры Банин, спрашивает у консьержки. Никто не знает, где она.

Банин возвращается из поездки, распаковывает багаж.

Телефонный звонок.

Гюльнар:

– С возвращением. Ну, как поездка?

– Нормально.

– Отлично, а какое сегодня число?

– Седьмое.

– Правильно. Помнишь, я говорила «три месяца», но все получилось с опережением. Приглашаю тебя завтра в восемь вечера в ресторан «У Максима» на нашу с графом свадьбу.

Банин спускается по лестнице своего дома, консьержка протягивает ей конверт. Банин, не раскрыв его, опускает в сумку.

В ресторане. Гюльнар в белом свадебном платье и граф встречают гостей у входа. Гюльнар обнимает Банин.

Веселье свадьбы. Танцы, песни. Гюльнар танцует с графом. Грустно наблюдает за ними Банин. Пьет шампанское, берет папиросу, вынимает из сумки зажигалку, видит конверт, раскрывает его. Звучит закадровый голос Хуана:

– Любимая моя, возможно, я сделаю тебе больно, но сказать необходимо: ради тебя, ради меня. Мы больше не можем встречаться, быть вместе. Я слишком свободная личность, слишком анархист, если хочешь, считай, слишком эгоист, чтобы связывать свою жизнь с женщиной, пусть и прекрасной, любимой. Я благодарен тебе за

чудесные дни на Лазурном берегу. Только память и остается нам в этом бессмысленном мире. Твой неверный друг Хуан».

Все поплыло перед глазами Банин, гости, музыканты, танцующие слились в одну бесформенную массу... Машинально наливает шампанское в свой фужер, пьет, потом еще один фужер, еще один.

Расплываются в танце Гюльнар и граф. Банин быстро встает и, шатаясь, идет в дамскую комнату, заходит в туалет, садится на стульчак. Она в прострации, как когда-то, в совсем юные годы.

Гюльнар и граф за столом.

Гюльнар (спрашивает кого-то):

– А где Бану?

– Ушла в туалет. Уже давно ее нет, кажется, ей стало плохо.

Гюльнар встает и идет в туалет, дверь туалета закрыта.

Гюльнар:

– Уля, ты там?

Нет ответа.

Гюльнар (стучит):

– Кто там? Ответьте!

Нет ответа.

Гюльнар:

– Я знаю, ты там, не глупи, открой...

Нет ответа.

– Сейчас позову гарсона. Открой же... ты меня пугаешь... *(Кричит)* С ней точно случилось несчастье. Господи, что делать? Надо позвать мужчин, чтобы высадили дверь.

Банин открывает дверь, обнимает Гюльнар и содрогается в рыданиях:

– Ты помнишь? – сквозь рыдания говорит она. – Ты помнишь... нашу террасу, уютную жасмином, наши скалы, пески?

Гюльнар (удивленно):

– Что на тебя нашло?

– Тебе не кажется, что мы были бы счастливее, если бы продолжали носить чадру, как наши бабушки... Никаких проблем с работой, с мужчинами, никакой свободы....

Гюльнар:

– Перестань, а то и я расплачусь.

– Ах, Гюльнар, если бы ты знала, как я несчастна...

Комната Банин. Она лежит на диване. Стук в дверь. Открывает. В дверях Бунин.

Бунин:

– Здравствуйте, Банин Мирзоевна. Тэффи сказали, что вы куда-то уезжали, но вернулись. Я к вам по делу.

– Пожалуйста, заходите.

Бунин:

– Не знаю, чем я уж настолько провинился перед вами, что вы так неожиданно

исчезли, даже не уведомив меня. Но это ваше право. Я же пришел, только затем, чтобы попросить вас, для полного окончания нашего нелепого знакомства, вернуть мне шуточные записочки, что я посылал вам. Или можете сжечь их при мне, чтобы они когда-нибудь не попали в чьи-нибудь руки. А то кто-то принял бы их не за шутки, а как чистую монету. Если исполните эту мою последнюю просьбу, буду очень благодарен вам. Взамен я оставляю вам на память свою фотографию.

Передает ей снимок – свой портрет.

– За портрет спасибо, но я не могу вернуть ваши письма или сжечь их, при всем моем уважении к вам. Если даже вы писали их, как говорите, в шутку.

– С вас станется напечатать их. Представьте, как была бы огорчена Вера Николаевна...

– Наконец-то вспомнили о своей поистине замечательной жене. Обещаю вам, ни при вашей жизни, ни при жизни Веры Николаевны эти письма не будут опубликованы.

Бунин, казалось, смирился с ее непреклонностью.

– А вы все такая же злая, мы не виделись почти год, я думал, вы с возрастом станете мягче.

– Мне рано жаловаться на возраст.

– Вы, кажется, подкрасили волосы.

– Да, у меня молодой любовник, нельзя подчеркивать разницу в возрасте.

Бунин молча встает, идет к двери.

Банин:

– Да успокойтесь, нет у меня никакого любовника.

Бунин молча, не прощаясь, выходит из дверей, начинает медленно спускаться по лестнице. На лестничном пролете останавливается и смотрит наверх.

Банин, все еще в дверях, следит за ним.

Бунин:

– Ах, Банин, Банин... – продолжает спускаться.

Долго следит за ним Банин, потом смотрит из окна.

Бунин, опираясь на трость, медленно пересекает улицу, уходит вдаль и исчезает из виду.

Банин ставит его портрет на полку рядом с портретом комиссара, садится в кресло, куда обычно садился Бунин и долго смотрит на его портрет.

...Банин в том же кресле, уже в другом возрасте. Это не смена фотографий, при помощи гримера, мы видим ее в той же позе, но в разных возрастных отрезках, вплоть до 87-лет. Она вглядывается в портрет Бунина, уже в черной траурной рамке.

Надпись:

Бунин умер в Париже в 1953-м году, Банин скончалась там же, в 1992-м году. Она пережила Ивана Алексеевича Бунина на сорок лет.

Лето 2015г.
Загубьба

ЕЛИЗАВЕТА КАСУМОВА

Старые письма

Когда я окончательно скисну,
Среди старых бумаг своих
Обнаружу старые письма
И уйду с головою в них.

Вот письмо от брата, из армии.
Пишет, как до боли в боку
По ночам в затихшей казарме
Бредит он о родном Баку,

О ночных веселых загулах,
О проспекте в вечерний час,
О соседской девочке Ире
И о том, как он любит нас...

Вот посланий тонкая пачечка
(То, что минуло, не зови!)
От голубоглазого мальчика –
Моей первой-последней любви,

Что потом уехал за фартом
В неизведанные края,
Растолстел, перенес три инфаркта,
Но забыть не сумел меня.

Вот письмо из недалекого города:
«Приезжаю, и буду рад,
Если встретимся – просто, без повода,
Разве нужен повод? Мурад».

Вот еще письмо – очень нежное,
От того, кто хорош был и мил,
Но, возможно, слишком поспешно
О серьезном заговорил.

Ну, а эти письма пространные,
Что летели ко мне дождем,
От того, с кем по жизни странной
Мы не рядом, но вместе идем.

Письма старые – хрупкие листики,
Перечитанные невзначай,
В вас какая-то тайна, мистика,
В вас и свет, и святая печаль...

Годы минули, сердце остыло,
Жизнь прошла, и прошла стороной.
Неужели все это было?
Неужели было – со мной?

Наверное...

Наверное, я родилась в сорочке –
Я помню, как под детскою рукой
Вдруг в четком ритме выстроились строчки,
Рифмованные с первою строкой.
И было то мгновение прекрасно –
Я ощутила крылышки у плеч,
И поняла: отныне мне подвластна
Иная, необыденная речь.
Она приходит исподволь, не сразу,
Рождаясь в одиночестве, в тиши,
В ней фразы составляются не разумом,
А трепетным дыханием души.
Слагаясь не в мозгу, а в подсознании,
Всплывая из его глубинных ям,
То ли в награду мне, то ль в наказание
Рождается простой и вечный ямб.
Пишу, сбиваясь, слов не подбирая,
Но все они ложатся точно, в масть.
Чтоб эти строчки не могли пропасть,
Меня бессонницею Бог карает.
Удержанные на листе измятом
Моею торопливою рукой,
Они живут. И вечный непокой
Такая ли за них большая плата?

Седой волос

Предвестник осени,
Бредущей мне навстречу...
Ее еще не видно, но она
Грядет, неумолимая, как вечность,
И встреча нам когда-то суждена.

Что делать мне с тобой?
Ладонь несмело
Крадется, замирает на виске,
Решается – и вот предатель белый
Поверженный, лежит в моей руке.

И осень удирает без оглядки,
Как прежде, в кроне – лишь зеленый тон...
Нам весело играть с собою в прятки,
И, может быть, спасенье наше в том.

Ветер

Свистел разбойником,
В окно стучался веткой
И дергал дверь, как пьяный забулдыга,
Раскачивал скрипучую беседку
И по дорожкам сада чертом прыгал,
То гулко грохотал железом крыши
И выл в трубе отчаянно и дико,
То в зарослях колючей ежевики
Вдруг прятался и был почти не слышен,
И вновь атаковал то дверь, то окна,
Их норовя сорвать со ржавых петель,
То налетал с разбега, то – с наскока,
И стекла расколоть на части метил.
Так вот чего ты хочешь? Что ж, врывайся!
Зачем на пустяки усилья тратишь?
Окно и дверь – все нараспашку, настежь –
Кружи вокруг меня и кувыркайся!
И он влетит, и вмиг свечу загасит,
И, сдунув на пол письма и газеты,
Мне волосы, как жемчугом, украсит
Дождинками и яблоневым цветом.
Входи, располагайся, будь как дома,
Кружись, танцуй, и делай пируэты.
Ведь, как-никак, а мы давно знакомы,
К тому же оба – чуточку поэты.
И у меня в натуре озорство,
И переменчивость, и бесшабашность,
И я не знаю, что мое однажды
Придумает шальное естество.
Я тоже не люблю однообразья
И иногда встаю не с той ноги...
Но как недолог наш веселый праздник:
По коридору – четкие шаги.
Избранник мой, разумный и суровый,
Захлопнет окна, скажет, что – сквозняк...
Вновь ветер носится в саду, а я
В пространство дома наглухо вмурована.

Туча

Все в ожиданье замерло тягучем,
Дождь не идет, не льет, не моросит.
А черная беременная туча
Отяжелев, над городом висит.

Все ниже опускается и пухнет,
Касаясь крыш, макушек тополей,
И кажется, что туча скоро рухнет
И нас раздавит тяжестью своей.

Лишь воробьям, от гомона охрипшим,
Все нипочем – они опять галдят!..
Который час над городом притихшим
Пасется туча, полная дождя.

Утро

Прохладен и пустынен сквер,
Вода в бассейне плещет сонно,
Лишь голенастая ворона
Шагами меряет барьер,

Да бело-рыжая дворняга
В восторге по газону мчит,
Где солнца первые лучи
С травинок слизывает влагу.

Люблю я это время суток –
Кругом покой и тишина,
И нота каждая слышна
Едва проснувшегося утра.

Ода ремонту

Ремонт – развал, раздрай,
Стук, скрежет, суета.
Но после будет рай,
Комфорт и красота.

Из комнат «на пока»
Вся вынесена мебель,
Лишь люстры тонкий стебель
Свисает с потолка.

И каждый день с утра,
Лохматые, как астры,
Толкуют мастера
Про клей и алебастр.

Жужжит пила, как шмель,
Бьет молоток чечетку,
Безжалостная дрель
В намеченную цель
Прямою жжет наводкой.

И так вот день за днем,
Почти без передышки,
Живем и пылью дышим,
Но все-таки – живем!

Но вот смолкает гам,
И мастера уходят.
Но, как ни странно, нам
Их не хватает вроде.

Все было, как в чаду,
А нынче стало пресным:
Тому, кто жил в аду,
В раю – неинтересно.

.

Ночной этюд

Светит лампа, как пленкой мыльной
Тонкой радугой окружена,
И тихонько стрекочет будильник,
Раздвигая завесу сна.

Я встаю, выхожу из квартиры,
Из покоя душного прочь,
И, рукою скользя по перилам,
Выбредаю в летнюю ночь.

В синем сумраке смутно белеют,
Как виденья, громады домов,
По асфальту сонных дворов
Мелкий дождь капли редкие сеет.

Спят ограды цветных палисадников,
Кошки спят, грея брюхом котят,
Только тучи, как серые странники,
По просторам неба летят.

И, зевая длинно и сладко, –
И кого там дьявол принес? –
Вновь ложится, взбреднув для порядка,
Полусонный дворовый пес.

Ищет ветер в ветвях приюта
И слегка холодит висок,
Глухо падают ягоды тута,
Изливая медовый сок...

Простою, пока утро седое
Не разгонит остатки снов,
И пока – от угла второе –
Не зажжется твое окно.

Первое сентября

**С чего-то вдруг проснулась рано,
Бреду в слепой, сырой рассвет.
И кажется чужим и странным
Пустынный, вымерший проспект.**

**Как будто зов меня влечет –
Иду, не разобрав дороги.
К базарчику, что спит еще,
Меня выносят сами ноги.**

**И на базаре полусонном,
Где никого почти что нет,
Я покупаю невесомый
Из белых хризантем букет.**

**Через дорогу спит в узоре
Ажурной зелени ветвей
Знакомый старый: дом, который
Звала я школою своей –**

**Давным-давно... За эти годы
Он постарел и подряхлел,
Морщины-трещины над входом
Под гримом спрятать не сумел...**

**От времени куда нам деться?
Он стар сейчас и очень тих –
Дом, где хранится память детства,
Моя и тысячей других...**

**Взволнована до немоты,
С ним вновь прощаясь с сожаленьем,
На стертые его ступени
Кладу осенние цветы.**



НАРМИНА БАЙРАМАЛИБЕЙЛИ

ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ ЛЮБИМОЙ ПРОФЕССИИ

В конце минувшего года в Союзе композиторов Азербайджана чествовали Имруз-ханым Эфендиеву – заслуженного деятеля искусств республики, доктора искусствоведения, профессора. Данное событие было связано с ее недавним 75-тилетием и выходом в свет по этому поводу двух поэтично названных книг – «Жизнь, прожитая в музыке» («Мусигидя кечян омюр») и «Плоды творческих исканий» («Ахтарыш йолларынын бяхряси»). Первая из них, изданная Национальной библиотекой им. М. Ф. Ахундзаде, – персональный научно-библиографический справочник, своего рода летопись творческой жизни одного из авторитетных представителей азербайджанской музыкальной культуры. Ну, а в более широком понимании – подытоживание достижений Имруз ханум за значительный временной срок ее деятельности в качестве музыковеда и педагога. Вторая книга, «Плоды творческих исканий», – увесистый том в более, чем 500 страниц – уже собственно сами работы Имруз ханум, а точнее, лишь их часть, представленная статьями-портретами, статьями-воспоминаниями, очерками, рецензиями, публицистическими и критическими высказываниями, относящимися, главным образом, к периоду после 2000 года.

Теперь о каждом из изданий поподробнее.

Книгу «Жизнь, прожитая в музыке» открывает статья народного артиста СССР, лауреата государственных и международных премий, народного артиста республики, кавалера ордена «Шохрат», профессора Фархада Бадалбейли «Путь к вершине», в которой прослеживается профессиональный путь Имруз-ханым, которую автор характеризует как «прекрасного ученого, одаренного педагога и скромного человека».

«Путь к вершине»... Приводимые далее в книге главные вехи творческой биографии И.Эфендиевой вырисовывают неуклонно восходящую линию профессионального роста: учеба в Азгосконсерватории, в аспирантуре Института архитектуры и искусства АН Азербайджана, вступление в Союз композиторов республики, работа в Азгосконсерватории, издание монографий, защита кандидатской, докторской диссертации, путь от старшего преподавателя до профессора, получение звания заслуженного деятеля искусств Азербайджанской Республики, трижды награждение Почетной грамотой (Фяхри фярман) Министерства образования республики. Но за всем этим взлетом к вершинам профессии стоят стремление к постоянному обогащению собственных знаний и высокое чувство ответственности за выполняемое дело (качества, думается, заложенные «генетически»: отец Имруз-ханым – видный государственный деятель, писатель, основоположник азербайджанского театроведения Мамед Садых Эфендиев, мать, Мусалят Гулиева – опытный врач).

С интересом читаешь приводимые в книге многочисленные статьи об Имруз-ханым, адресованные ей письма и другие документы, подписанные представителями отечественной и зарубежной науки, культуры и искусства. И здесь – целое созвездие имен известных композиторов, музыковедов, исполнителей, ученых. Содержание этих материалов, бережно хранящихся в архиве Эфендиевой – свидетельство признания и высокой оценки ее профессиональной деятельности. На высказывания из этих документов мы будем ссылаться в данной статье.

Об Имруз-ханым писали замечательные азербайджанские композиторы: Ф.Ализаде, Т.Кулиев, В.Адигезалов, Т.Бакиханов, А.Рзаев, М.Мирзоев, А.Ализаде, С.Ибрагимова и др., музыковеды Г. Абдуллазаде, Э.Абасова, Р.Зохранов, З.Сафарова, Р.Мамедова, З.Дадашзаде,

С.Сеидова, У.Иманова, Г.Махмудова и др. К примеру, доктор философских наук, профессор Г. Абдуллазаде считает очень ценным умение Имруз-ханым «находить решение некоторых из важных теоретических и исторических проблем в современной азербайджанской музыке».

Много лестных слов о деятельности И. Эфендиевой содержат отзывы представителей музыкальной культуры ближнего зарубежья – член-корр. АН Казахстана, доктора искусствоведения, проф. Б. Г. Ерзаковича, доктора искусствоведения, проф. Московской консерватории Е. Б. Долинской, Председателя Комиссии музыкознания и музыкальной критики СК бывшего СССР, доктора искусствоведения В. И. Зака, доктора искусствоведения, профессора Санкт-Петербургской консерватории Л. Г. Данько, отмечающей «широкий круг интересов И. Эфендиевой». Вообще с Санкт-Петербургом у Имруз-ханым связаны особо теплые воспоминания – ведь здесь она прошла крепкую профессиональную школу под руководством крупного ученого А. Н. Сохора (ему она посвятила статью в сборнике «Плоды творческих исканий»).

О высокой оценке творчества Имруз-ханым свидетельствуют и отзывы докторов искусствоведения из Киева Т.П.Булат и Г.С.Виноградова. А профессора К.Д.Туманишвили (Тбилиси) и З.Н.Сайдашева (Казань), часто приезжавшие в Баку на различные творческие форумы, не раз «воочию» убеждались в успешной работе И.Эфендиевой.

Интересны мысли о музыковедческой деятельности И.Эфендиевой видных азербайджанских исполнителей – Ф.Касимовой и Х.Касимовой, Е.Ахундовой, О.Абаскулиева, Р.Кулиева и др. Свои весомые мнения высказали о ней и академики Б.Набиев, В.Мамедалиев, К.Талыбзаде, Ф.Гасымзаде. Так, Васим-муаллим говорит об Имруз-ханым как о «самом активном ученом, пропагандирующем и исследующем азербайджанскую музыкальную культуру. Она подготовила кадры музыковедов, продолжающих ее педагогические установки».

Хорошо знаком был с творчеством И. Эфендиевой и высоко оценивал его народный поэт Азербайджана Нариман Гасанзаде. В газете «Адябиййат вя инджасенет», где он долгие годы был главным редактором, Имруз-ханым опубликовала более 40 актуальных по содержанию статей.

В «Жизни, прожитой в музыке» представлены материалы на азербайджанском, русском, турецком и украинском языках. Издание включает сотни названий книг, статей, документов, отражающих гармонично сочетающиеся творческие «ипостаси» И. Эфендиевой. Она проявила свой многогранный талант как ученый-музыковед, педагог, методист, руководитель целого ряда диссертационных, магистерских и дипломных работ, как редактор и рецензент, научный организатор и музыкант-просветитель. Просматривая внушительный «реестр» ее научных трудов, отмечаешь широкое разнообразие их проблематики. В орбите интересов автора – масса явлений национальной музыкальной культуры: от музыки для детей до оперного и симфонического жанров, вопросы профессиональной музыки устной традиции, исполнительства и многое другое. Ее ранние монографии об азербайджанской советской песне и по сей день не теряют своей актуальности. Вот что пишет уже упомянутая выше профессор Московской консерватории Е.Б.Долинская: «Работа И.Эфендиевой «Азербайджанская советская песня» стала первой монографией, охватившей более чем полувековую путь развития азербайджанской советской песни. В исследовании музыковеда особо ценен комплексный подход к изучению жанра, в контексте общестилевых процессов развития театра, кино, оперы и других видов искусства республики». «Благодарю Вас за Ваши книги, вносящие несомненный вклад в музыкознание и расширяющие наши представления о советской азербайджанской музыке», – обращается к Имруз-ханым Председатель Комиссии Музыкознания и музыкальной критики Союза композиторов СССР, доктор искусствоведения В.И.Зак.

Из более поздних работ И. Эфендиевой назовем монографии об азербайджанских композиторах, и в первую очередь о Васифе Адигезалове, являющиеся одними из значительных исследований в современном отечественном музыковедении. По мнению народного артиста Азербайджана, лауреата Государственной премии, профессора Тофика Кулиева,

«масштабный труд И. Эфендиевой представляет собой глубокое и высоко профессиональное научное исследование, поэтапно освещающее творческий путь народного артиста, лауреата Государственной премии Азербайджана, профессора В. Адигезалова в совокупности с исконно национальными традициями и глубинным анализом всех компонентов музыкального языка художника».

Упомянем также работы Имруз-ханым о Тельмане Гаджиеве, Севде Ибрагимовой, монографический очерк в составленном ею сборнике материалов о Рашиде Бейбутове, буклет о Джангире Джангирове.

Внимание исследователя всегда привлекало и творчество Кара Караева. Ею написаны 12 статей, освещающих различные проблемы искусства этого, как подчеркивает Имруз-ханым, «великого композитора нашей современности». Думаю, что было бы полезно в дальнейшем объединить эти статьи, опубликованные, в основном, на страницах журналов, в монографический сборник.

Ко всему перечисленному добавим и множество других научных статей, часть из которых издана за рубежом. А сколько было выступлений на республиканских и международных конференциях и симпозиумах! Сообщения, статьи Имруз-ханым печатались в Тбилиси и Киеве, Минске и Самарканде, Ленинграде и Москве, Таллинне и Риге, Кишиневе, Ашгабаде и Эрзуруме.

Хочется привести мнение члена-корреспондента АН Казахстана Б. Г. Ерзаковича об Имруз-ханым, как об ученом-музыковед. «В ее работах, – отмечает он, – ярко проявляется талант профессионального музыковеда-аналитика, с большой глубиной раскрывающей черты стиля в разных по своему языку, содержанию и формам произведениях».

И.Эфендиева – автор большого числа программ и методических указаний по таким сложным курсам, как гармония и сольфеджио, статей по педагогике. Еще в бытность мою студенткой Имруз-ханым вела у нас одну из теоретических дисциплин, и с тех пор я знаю ее как эрудированного и требовательного к себе и студентам преподавателя. Работе в Азгосконсерватории, ныне Музыкальной академии, она отдала более 50 лет своей жизни, воспитав целый отряд квалифицированных музыковедов, среди которых и доктора философии по искусствоведению.

Показателен широкий круг проблем, который охватывают темы диссертационных, магистерских и дипломных работ, выполненных под руководством Имруз-ханым, – их длинный перечень также опубликован в рассматриваемой книге.

Имруз-ханым успевает многое. Так, одна из граней ее деятельности связана с ответственной ролью Председателя научного семинара по защите диссертаций, требующей большой отдачи времени и сил. Кроме того, почти все годы работы в Бакинской музыкальной академии И. Эфендиева совмещает педагогическую работу с научно-организационной среди студентов: руководит Научным студенческим обществом, организует научные студенческие конференции. Замечу, что труды ее подопечных не раз премировались на всесоюзных и республиканских конкурсах. Сама же Имруз-ханым за свою плодотворную педагогическую деятельность, как уже говорилось, трижды награждалась Почетной грамотой Министерством образования республики.

Свой творческий энтузиазм Имруз-ханым проявила и как член Союза композиторов СССР. Она входила в Комиссию по музыкально-эстетическому воспитанию детей и юношества СК СССР. Помимо выступлений, докладов на всесоюзных и международных конференциях, симпозиумах, она выполняла важные поручения от этой организации, как, например, составление для Международного симпозиума в Самарканде «Библиографических и нотографических указателей изданий по традиционной музыке республик Советского Востока».

Ныне Имруз-ханым – один из самых активных членов Союза композиторов Азербайджана, принимающая участие почти во всех его мероприятиях, оперативно откликающаяся в своих статьях на многие события музыкальной жизни республики.

Особо хочется выделить роль И. Эфендиевой в области так называемого приклад-

ного музыковедения: ее художественно-публицистические высказывания в периодической печати – газетах и журналах, вступительных словах перед концертами, выступлениях перед многомиллионной аудиторией по телевидению и радио. Успех же Имруз-ханым на этом поприще во многом обусловлен живостью и непосредственностью стиля ее письма и речи. Работы И. Эфендиевой публиковались в самых известных сборниках и периодических изданиях – республиканских («Бакинский рабочий», «Баку», «Вышка», «Литературный Азербайджан», «Гобустан» и многих других), бывших союзных («Правда», «Советская культура», «Советская музыка», «Музыкальная жизнь», «Музыка в школе», «Советская Киргизия», «Советская Молдавия» и многих других, где по словам того же В. И. Зака, «она зарекомендовала себя как энергичный пропагандист творчества азербайджанских композиторов»), современных турецких. Кстати, многие читатели ранее издаваемого «Зеркала», наверное, не раз встречали ее запоминающиеся статьи на страницах газеты. В свое время Имруз-ханым вела по телевидению и радио циклы передач об азербайджанской советской песне, об азербайджанских композиторах, а в последние годы нередко участвовала в столь популярном у любителей музыки просветительском телецикле «Мусиги хязиняси». И всегда, во всех своих выступлениях, ей удается профессионально и при этом доходчиво раскрыть тему передачи.

До сих пор речь шла о научно-библиографическом справочнике «Жизнь, прожитая в музыке». Материалы сборника четко и подробно систематизированы. Издание не только помогает по достоинству оценить плодотворную и многогранную деятельность И. Эфендиевой, но и обогащает пока еще не столь обширную область национального музыкального источниковедения. Сборник же «Плоды творческих исканий» позволяет непосредственно ознакомиться с последними по времени работами музыковеда – статьями в авторитетных республиканских (газеты, журналы, тексты телевизионных выступлений и т. д.), а также ряде московских изданий. Азербайджанское музыкальное искусство в книге представлено всесторонне: тут и сочинительство, и исполнительство, и наука о музыке, тут и музыкально-общественные события. Материал сборника на азербайджанском и русском языках поделен на три рубрики: «Портреты композиторов, музыковедов, исполнителей», «Музыкальные страницы нашей жизни», «Публицистика и критика». А с исторической точки зрения содержание книги охватило целую эпоху в национальной музыке: от творчества Уз. Гаджибейли до современного ее состояния. Подтверждая сказанное, приведу заголовки лишь нескольких статей: «Второй Международный музыкальный фестиваль «Шелковый путь» – знаковое событие в культурной жизни республики», «Маэстро Афрасияб Бадалбейли», «В Союзе композиторов Азербайджана», «Интересное и ценное учебное пособие» (о Севде Ибрагимовой), «Современный взгляд на наследие Уз.Гаджибейли», «Новаторство музыкального языка Вагифа Мустафазаде», «Свой путь к творческим вершинам» (о Франгиз Ализаде) и т.д.

Не могут не заинтересовать читателей воспоминания Имруз-ханым о Кара Караеве, М. С. Эфендиеве, Н. Имангулиеве и др. Ведь чем больше время отдаляет нас от прошлого, тем большую ценность приобретает каждый новый, дотоле неизвестный факт из жизни корифеев отечественной культуры. С большой теплотой написаны воспоминания о Кара Караеве, который не раз поддерживал Имруз-ханым в период ее становления как ученого-музыковеда.

В шестилетнем возрасте потеряв отца, Мамед Садыха Эфендиева (погиб на фронте в Великую Отечественную), Имруз-ханым позже сполна воздала должное его памяти, осветив с искусствоведческих позиций его общественную деятельность и театроведческое наследие. В книге представлены также две статьи об М.С.Эфендиеве. В первой прослеживается его жизненный путь и обобщаются художественно-эстетические воззрения. В другой приводятся воспоминания отца о незабвенном Бюльбюле в роли Кероглу.

Памятны для Имруз-ханым и встречи с мэтром национальной журналистики Насиром Имангулиевым. Она подробно рассказывает об их беседах в редакции, об участии Насира-муаллима в подготовке к 100-летию юбилею М.С.Эфендиева.

В сборник включены статьи, очерки, наверное, почти обо всех известных азербай-

джанских композиторах разных поколений. Из них выделю развернутые статьи о Франгиз Ализаде, Васифе Адигезалове, Сеиде Рустамове, Октае Раджабове. Профессиональное умение в освещении множества вопросов национальной музыки, пусть даже самых непростых (как, например, связанных с анализом сочинений Франгиз Ализаде, проблемой традиций и новаторства в творчестве Уз.Гаджибейли, выявлением особенностей музыкальной драматургии в произведениях Васифа Адигезалова и т. д.), в этих работах неизменно сочетается с доступностью изложения. Хочу добавить, что каждая статья Имруз-ханым – будь то портрет композитора или исполнителя – это всегда не только итог аналитических размышлений, но и активного творческого общения с музыкантом. Кстати, сборник очень обогатило немалое количество красочных фотоиллюстраций, на которых Имруз-ханым запечатлена с «героями» своих статей и другими видными деятелями культуры.

Замечательно написаны портреты современных азербайджанских исполнителей – инструменталистов, дирижеров, вокалистов. Почитатели их таланта смогут найти в книге интересные факты творческой биографии музыкантов, а также анализ их исполнительского стиля.

К примеру, статья о сестрах Фидан и Хураман Касимовых «Звезды всегда на вершине». (Имруз ханум всегда удается подобрать для своих статей яркие, образные заголовки, а нередко и запоминающиеся эпиграфы из поэтических и других источников). Эта статья, как и другие, демонстрирует присущее автору доскональное знание «объекта» исследования. При ее написании Имруз-ханым основывается не только на воспоминаниях о концертных выступлениях певиц, но и на впечатлении от посещения урока в классе Хураман-ханым. «В классе Касимовых буквально кипит динамичная творческая обстановка», – восхищается она.

Не обошла вниманием Имруз-ханым и своих коллег-музыковедов. Выделю ее статью о выдающемся азербайджанском музыковед-Эльмире Абасовой. В ее богатом наследии автор заостряет внимание на работах, связанных с изучением творчества К. Караева и известного педагога-теоретика Н. С. Чумакова – учителя Э. Абасовой (Имруз-ханым также в числе его учениц). Свои работы Имруз-ханым посвятила не только представителям музыкознания старшего поколения, но и молодым ученым, исследования которых она охотно рецензирует.

Добавлю еще несколько слов о сборнике «Плоды творческих исканий». Он адресован как музыкантам-профессионалам, так и широкому кругу меломанов, которым даст возможность совершить увлекательный и познавательный экскурс в мир азербайджанской музыки. Хотя автор и не ставил перед собой такой задачи, но собранные воедино разнообразные по тематике статьи сборника как бы спонтанно выстроили довольно завершенное, создаваемое в течение многих и многих лет прекрасное «здание» национальной профессиональной музыкальной культуры.

И в заключение вновь о «виновнице» новых изданий. Имруз-ханым можно отнести к той редкой категории людей, которые всецело посвятили себя любимой профессии. Наконец, она – привлекательный и легкий в общении человек. Всегда приветливая и доброжелательная, готовая помочь дельным советом, она снискала искреннюю любовь и уважение своих коллег и студентов.

Зная любовь Имруз-ханым к музыкальной науке, ее активность и неугасающую инициативу в поисках нового, уверена, что библиографический список ее трудов будет и впредь интенсивно пополняться. От души желаю ей крепкого здоровья и долгой творческой жизни.

НАТИГ РАСУЛЗАДЕ

ГОЛЬФСТРИМ

*Роман-кардиограмма**

Я рано начал читать и читал взахлеб, в первую очередь художественную литературу, чтение отнимало много времени, и это происходило в ущерб школьным урокам; но чтение литературных произведений развивало мое воображение, тогда как школа суживала. В большом почете были библиотеки. Их было много, не в пример сегодняшним библиотекам, изо всех сил старающимся выжить и порой пускающим во все тяжкие, чтобы работники могли хоть как-то прожить на ту мизерную зарплату, которую они получают. Но в то время были библиотеки даже при школах, и я с удовольствием пользовался нашей. Трудно сейчас перечислить названия книг, что я читал и перечитывал, но, наверное, больше всего мне нравились книги Жюль Верна, Конан Дойла, Перро и Андерсена, народные сказки, наши, азербайджанские, и русские народные; предпочтение я отдавал волшебным сказкам, где происходили невероятные вещи, чудеса, где царили колдуны, вешуньи, злые ведьмы и прочее. А книгу Катаева «Белеет парус одинокий» я перечитывал, наверное, бесчисленное количество раз, так мне нравились яркие образы мальчишек, живущих в этой книге, но еще и потому, что эта книга была одной из немногих, что перекочевали из города на дачу и помогали мне развеивать дачную тихую скуку. Когда мне было одиннадцать, мне попала книга Мопассана «Милый друг», я стал её читать, но процесс был прерван в самом начале. Родительская цензура, конкретно – мамина, воспрепятствовала такому вопиюще преждевременному, не по возрасту, познанию мировой литературы, и книга была конфискована и возвращена хозяину, не помню теперь, кто мне давал её почитать. Художественную литературу я читал без разбору, что-то нравилось, что-то не очень, но даже то, что не очень, мне нравилось гораздо больше, чем то, что мы проходили в школе на уроках литературы; видимо, зубрежка, заучивание по принуждению заранее вызывали во мне резкое неприятие, и я восставал против этого.

Несмотря на мою любовь к книгам, каждый раз так получалось, что при переезде на дачу вдруг обнаруживалось, что взято с собой минимальное количество книг, и далеко не самых моих любимых, не те, что я – как говорила мама – не выпускал из рук; потом я понял, что это делалось специально, вместо моих любимых книг на дачу привозились учебники, чтобы я большую часть летних каникул посвятил повторению пройденного школьного материала по всем предметам, особенно по самым нелюбимым, по которым я постоянно не успевал, а в конце седьмого класса даже заработал переэкзаменовку по химии. Но все это были мелочи, а главным для меня было чтение книг, я забирался на крышу дачного дома, лежал под навесом, в тени, читал и домысливал про себя дальнейшие судьбы героев книг, представлял себя на их месте, когда они совершают самые яркие и запоминающиеся, самые смелые свои поступки, помогал им добиваться справедливости, восхищался их подвигами и постоянно примерял на себя их характеры, есть ли и у меня такие черты, и что надо делать, чтобы стать таким же, как мои любимые персонажи... Я зачитывал до дыр знаменитый роман

*Окончание. Начало см. № 10, 2015г.

Луи Буссенара «Похитители бриллиантов», где трое французов-авантюристов во времена алмазной лихорадки отправляются в Африку; представлял себя на месте то одного из героев книги, то другого, и даже взял себе на вооружение негодующее, звучное восклицание одного из героев произведения, имя которого я забыл, но странным образом не забыл само восклицание, которое герой произносил на каждом шагу: «Арра-бедарра!», даже не знаю, на каком языке. И каждый раз, когда я играл под абрикосовыми деревьями близ курятника сам с собой в похитителей бриллиантов, издавая дикий вопль «Арра-бедарра!», курицы хором возмущенно откликались, видимо, ожидая нападения после такого воинственного клича. Играя в похитителей бриллиантов, я сам становился авантюристом и сам придумывал новые приключения, продолжая приключения трех друзей, описанные в книге, и вскоре уже не помнил, где кончается книга и начинаются мои фантазии и домыслы. А роман Гектора Мало «Без семьи» делал меня сиротой и бродячим циркачом с трудной судьбой и тяжелой жизнью, я ощущал себя сиротой, как мальчик Реми, и старался оставаться крепким, нестигаемым, противостоять той жизни, что на каждом шагу старалась сломить маленького скитальца; и порой я так проникался своими «бредовыми идеями» (конечно, это с точки зрения мамы они бредовые), так вживался в роль героя романа, что, когда видел отца, входившего на дачу через калитку с покупками в руках и улыбающегося мне, я не сразу мог сообразить, что это пришел мой папа, что у меня есть папа, в отличие от Реми; я медленно возвращался к реальности и наконец понимал, что надо улыбнуться, обрадоваться возвращению отца, хоть он и прервал чары, в которых я до его прихода пребывал. Он, не понимая, внимательно смотрел на меня, подмечая, наверное, что-то странное. Однажды я слышал, как он сказал маме:

– С ребенком что-то происходит, не пойму...

Он не страдал излишним воображением, он был слишком заземленным человеком, и почти вся его жизнь состояла из забот о семье, о детях, об их будущем. Он был хорошим отцом.

Я часто думаю о смерти, и в качестве успокоительного средства от смерти – о религии. Многим не нравится думать о конце жизни. Они отмахиваются от таких мыслей, произнося затверженные фразы, вроде: все там будем, от смерти не убежишь, думай не думай, а конец один, и так далее... Но я считаю, думать о смерти нужно, просто необходимо, тогда происходит переоценка ценностей, ты смотришь на вещи, на происшествия, на события, на людей с точки зрения их недолговечности, бренности, тленности, и многое в жизни становится не таким уж важным, остается самое главное в жизни человека – порядочность, доброта, честность. Но только глубоко проникнувшись мыслями о смерти, можно прийти к такой переоценке, прийти к которой многие подсознательно боятся, отсюда и основная причина, почему люди не хотят думать о бренности, тленности и так далее. Есть прекрасная мини-новелла Чезаре Дзаваттини с неподобающим теме великолепным чувством юмора: чиновник на работе сидит и думает о смерти, подходит начальник и кричит на него:

– Чезаре, вы опять думаете о смерти?!

«Ну, ничего, – размышляет про себя чиновник, – вот выйду на пенсию, буду проходить по улице, встречу своего бывшего начальника и назло ему изо всех сил буду думать о смерти».

Я не случайно вспомнил этот забавный рассказик. Если бы люди хоть изредка думали о смерти, что она неизбежна и, кроме грехов своих, ничего не заберешь из этого мира, то на свете, наверное, было бы больше добра и радости.

Многие с приближением старости обращаются к вере, к религии, это хорошо, в каком бы возрасте человек ни обратился к вере – все благо; надо иметь Бога в душе, только прислушиваясь к своему сердцу, человек может найти в нем Бога, найти своего Аллаха. А мечеть, церковь, синагога – по большому счету, показуха; люди показывают друг другу, что они приходят в дом Бога, чтят Его, любят и боятся Его (не пойму, как можно объединить два последних понятия, но любой верующий мусульманин постарается вам доказать, что любит и боится одновременно), однако дом Бога по-настоящему может быть только в сердце человека; можно посещать мечеть по семь раз в неделю, или церковь, можно отправляться на паломничество и совершать обряды, все равно вся эта атрибутика, ритуалы, которыми служители дома Аллаха оставили веру, ничего не стоят, если человек, помолившись, совершает греховные поступки, если в сердце его не построен дом Бога. Конечно, в массовом свершении ритуалов, молитв и прочего есть для людей свой положительный успокоительный момент – я не один, рядом со мной такие же, как и я. Но выйдя из дома Бога, построенного для толпы, для масс верующих, человек так или иначе остается один. Может, тогда он испытывает страх перед грядущим неизвестным, перед старостью, перед надвигающейся смертью? Не знаю, я никогда не ощущал потребности ходить в мечеть и молиться вместе с толпой, не ощущал потребности даже выучить самые популярные краткие молитвы, чтобы шевелить губами на похоронах, поминках, показывая людям, что я не пренебрегаю, что я с ними, один из них и так же, как и они, соответствую всем ритуалам и всем необходимым жестам и телодвижениям. Знаю, любой служитель веры возьмется мне доказать, что все эти мои досужие мысли греховны, что я не на верном пути, что душа моя заблудилась... Но пусть она блуждает, пока в ней не возведен настоящий и единственный дом Бога, построить который зависит только от меня самого, без чьего бы то ни было постороннего вмешательства.

У меня с детства были проблемы со временем, и продолжают они по сей день; я не мог уследить за ним, оно ускользало, увивалось, лишало меня временных ориентиров, опираясь на которые, я мог бы рассчитывать близкое будущее и точно вспомнить прошлое. Если мне говорили:

– Ты разве не помнишь, мы же обсуждали это дело неделю назад?..

Я не мог вспомнить в точности, напротив, мне казалось, что разговор произошел недели три, а то и месяца два назад. Это меня часто подводило, потому что каждый раз находились люди, готовые воспользоваться таким моим недостатком, уверяя меня, что произошло нечто важное, о чем я позабыл. Но я всегда слишком был занят настоящим, сегодняшним днем. И потом – конкретное время было так ничтожно перед Вечностью, что я почти не чувствовал себя ущемленным оттого, что не могу его схватить за жабры, как скользкую речную рыбу, старающуюся вырваться и нырнуть обратно в свою вечность.

Под Новый год мы с мамой наряжали елку, дня за два до праздника. Ёлку приносил отец – живую, небольшую, но всегда пушистую, ветвистую, и она чудесно пахла первые два-три дня в нашей маленькой квартирке. Наряжать ёлку мне нравилось гораздо больше, чем после любоваться ею, уже готовой, украшенной разноцветными шарами, конфетами-сосульками, блестящими стеклянными ожерельями, хлопьями ваты, изображавшими снег; когда мы с мамой заканчивали её украшать, у меня пропадал интерес и даже не хотелось смотреть на неё, и я не мог дожидаться, когда через несколько дней после праздника ёлку выбросят в мусорку. Опять же – процесс и был целью. Было такое ощущение, что она, ёлка, меня обманула: как же! мы её украшали, наряжали, а она ничего, ничего для меня, пятилетнего, не сделала взамен, не показала никакого чуда, ничего удивительного, не подарила никакого по-

дарка, которого я ждал не от уродливого щекастого Деда Мороза, что застывшим чучелом стоял внизу под ветвями, будто охраняя никому не нужную теперь ёлку, а от неё самой, ведь она была совсем живой, пахнувшей, дышащей и простояла в комнате тоже живой, разукрашенной; а от живого дети всегда ждут чего-то хорошего.

В годы моего детства в нашем городе, Баку, было большое количество воров-карманников, их называли «щипачами»; они шарили по карманам у наиболее – по их понятиям – богатых граждан, то есть у тех, кто был поприличнее одет в послевоенное время сплошных дефицитов. Большой частью они «работали» в переполненных трамваях и очередях в билетные кассы кинотеатров. Папа всегда был одет чисто и аккуратно (не знаю, можно ли было тогда его принять за богато одетого), и каждый раз кто-то из карманников пристраивался к нему, чтобы выудить деньги, и никогда это им не удавалось. Он обычно покупал билеты в кино у спекулянтов, не желая, чтобы я вместе с ним, а иногда и мамой, простаивал огромные очереди, которые и очередями трудно было назвать: обычно это была ворчащая и галдящая толпа, окружившая в три кольца окошко кассы. Потом части и частички этой толпы, которым все же удавалось приобрести билеты и просочиться в зрительный зал, так же галдели, бросали реплики во время просмотра фильма. Однажды парень лет тридцати (для меня тогда это был дядя, а не парень, он был всего лишь на несколько лет младше моего отца), сидевший недалеко от нас, грязно и громко выругался в адрес героини фильма, поведение которой ему не понравилось, видимо, потому, что отличалось от поведения его жены, или же напротив – было таким же, как у его жены, что его озлобляло. Или у него вообще не было жены, что озлобляло не меньше. Это был фильм «Ночи Кабирии», после которого мама плакала, вспоминая несчастную судьбу героини фильма. Фильм был замечательный, но тогда я этого не мог понять, мне было шесть лет, и потом я тоже не мог понять, какого лешего они взяли меня на такой фильм. Некоторые женщины, сидевшие неподалеку от хулигана, возмущенно зашептались, мама сделала вид, будто ничего не слышала, хотя её передернуло, когда парень выругался, а я смотрел на папу, ожидая его реакции. И она последовала: он поднялся, подошел к парню, продолжавшему комментировать непристойностями происходящее на экране, крепко взял его за ухо и под одобрительные возгласы сидящих рядом зрителей и повизгивание парня протащил хулигана таким образом через весь проход к выходу, чуть не оторвав ему ухо. Когда он вернулся и сел на свое место, мама сердито прошептала:

– Зачем ты связываешься со всякой шпаной? Теперь, может, он с друзьями будет ждать тебя после сеанса. Нечего делать?

Папа ничего не ответил, он сосредоточенно вытирал руку носовым платком. А я восхищенно смотрел на него, забыв про происходящие на экране события, мало меня интересовавшие. Через проход от меня в нашем ряду сидел такой же, как я, мальчик, может, на год или два старше.

– Это мой папа, – сообщил я мальчику.

Тот промолчал и отвернулся.

Однако в детстве я не всегда был доволен отцом, мне казалось, что во многих своих поступках он очень осторожен, сейчас бы я сказал – что он боялся жизни. В общем-то так оно и было: людей, зарабатывающих в те годы денег больше, чем полагалось (?!), подвергали остракизму, а отсюда недалеко было и до арестов, такое было время, такие были нравы и законы. А я всегда ожидал от своего отца – по своему детскому максимализму – каких-то героических поступков, или даже просто

поступков, как тогда в кинотеатре, но это бывало так редко... Мне невдомёк было, что отцы моих товарищей, приятелей мало чем отличаются от моего: почти все они были честными и добросовестными тружениками, работали в поте лица, чтобы прокормить свои семьи, возвращались с работы усталые, ни о каких героических поступках и не помышляли, хотя многие из них, в том числе и мой отец, совсем недавно прошли ту страшную войну, Отечественную, когда Отечество было неизмеримо большим, и гражданский долг каждого из этих отцов заключался в том, чтобы защищать его от врага. Мне же хотелось поступков от отца на каждом шагу, я не понимал, что в жизни, обыкновенной жизни, которой мы все жили, так не бывает, но хотел, чтобы так было с моим папой, и чтобы я мог с гордостью каждый раз напоминать всем мальчишкам:

– Это – мой папа!

Ненавижу вопросы: «Что вы пишете?», «Над чем работаете?», при этом на лице спрашивающего обычно появляется легкая пренебрежительная ухмылка, будто моя работа писателя сродни шутовству, и сейчас я покажу какой-нибудь смешной фокус или расскажу, над чем и как работаю, и он покатится со смеху. Эти вопросы я ненавижу даже больше, чем невразумительный вопрос: «О чем ты думаешь?» Поди, объясни... Профессия писателя настолько интимна, что о ней, в частности, о том, как создается произведение, просто невозможно говорить. Тем не менее, вот здесь я говорю именно об этом, лишний раз доказывая, что творческий человек, как правило, соткан из противоречий. Ведь о чем бы ни поведал писатель, он так или иначе пишет о себе, о своем внутреннем мире, о своих чувствах, которые в обобщенном виде являются чувствами, ощущениями, мыслями, присущими любому человеку. В людях много общего, и в то же время они очень индивидуальны, не похожи друг на друга, этим и интересны.

Все мои годы жизнь учила меня терпению, а я не хотел учиться, она на каждом шагу создавала для меня такие ситуации, когда необходимо подождать, нельзя торопиться, следует остановиться и подумать, переждать момент, а я всегда торопился, не останавливался и шел напролом, вместо того, чтобы находить более приемлемые, спокойные и короткие дороги к цели. И часто оказывался в смешном положении. С другой стороны, мне очень хотелось бы не торопиться, иметь уравновешенный характер; человек, гуляющий в одиночестве по улице со скоростью черепахи, всегда вызывал во мне чувство зависти. Я представлял себе, что тоже мог бы так прогуливаться, никуда не торопясь, но понимал, что мне с моим характером такое вряд ли под силу: я всегда был полон комплексов, которые мешали мне жить нормально, мне казалось, если я буду так медленно, бесцельно бродить по улице, меня сочтут бездельником, которому некуда спешить, у которого нет никаких дел. Проходя мимо какого-нибудь красивого зеленого сквера с журчащим фонтанчиком, я хотел бы присесть на скамейку, посидеть, поразмышлять о чем-нибудь, но как можно среди бела дня расслабиться на скамейке в саду, я же не пенсионер-доминошник, как-то неловко, могут увидеть знакомые. Я не могу и никогда не мог полностью насладиться настоящим моментом – будь то секс с желанной женщиной или прогулка у моря; проходило определенное время, и я вспоминал неряшливо прожитые минуты, в которые не сумел вжиться до конца, испить их сладость, окунуться в них до самого дна. Или мне так казалось?.. Настоящий момент проскальзывал мимо меня, но воспоминание всегда оказывалось весьма впечатляющим, даже сильнее реальности; я вспоминал события до мельчайших подробностей и переживал их заново. Или это тоже мне?.. Но тут, думаю, нужен хороший психиатр, самому мне трудно в этом ра-

зобратся. Это касается реальной жизни; а в творчестве совсем по-другому – как раз в самые счастливые моменты работы я ощущал и ощущаю всю полноту и прелесть проходящего момента, прописанной фразы, оживающего на глазах образа, удачно найденного штриха характера, яркой, необычной находки и еще многого другого. Все это мне подсказывает сердце, которое вдруг затрепещет и забьется в два раза быстрее, чем ему полагается биться, и как обычно оно бьется во время пауз в работе, так называемого кризиса (слово, не совсем подходящее для творчества, носящее в себе оттенок политический, но хрен с ним, уже написал) писательской фантазии.

Я никогда не был трудоголиком, и я не люблю трудоголиков, они лишают себя многих удовольствий жизни. Да, бывало, и довольно часто, что я лихорадочно работал по двадцать пять часов в сутки, стараясь угнаться за мыслью, но потом этот период проходил, и я снова входил в нормальный, даже несколько ленивый ритм, испытывая угрызения совести и укоряя себя за то, что лежу на диване, в двадцатый раз перечитываю одну из своих любимых книг, зеваю, думаю о том, о сем, далеко от работы, и плюю в потолок. По трезвому размышлению я понимал, что трудоголики – народ не совсем нормальный, и, кроме работы, они по-настоящему ничем не увлекаются и многое в жизни не замечают, или на многое закрывают глаза; а ведь жизнь такая разнообразная, такая яркая, непредсказуемая, что никакая писательская фантазия не сможет с ней соперничать. Особенно я не понимаю, как можно быть писателем-трудоголиком, тогда как именно писатель должен с головой окунуться в жизнь, изучать её, а потом уже создавать. А окунуться и изучать – требует немало времени, тут уж трудно стать трудоголиком, который только и делает, что пишет, пишет, пишет. Что он там пишет?..

Но когда у меня застои в работе, я остро завидую даже трудоголикам, хотя и не могу считать их настоящими личностями, потому что они лишают себя многих удовольствий, многих красок жизни, пробегают мимо общения с интересными и прекрасными людьми. Опять же это мое индивидуальное мнение, можете не соглашаться, потому что наверняка найдется кто-то, один из тысячи, который скажет: «Нет, тут ты не прав, вот я знал одного трудоголика, который...» И очень хорошо, что который, и не надо соглашаться, я никогда не изрекал истины в последней инстанции, я в таком же поиске её, как многие другие...

Будучи студентом, я взял себе за правило никуда не выходить без блокнота и карандаша; в блокнот я записывал разные выражения, обрывки разговоров, интересные словечки, что слышал на улицах или в кафе, в ресторане, в метро. С годами таких блокнотов накопилось несколько десятков, и многие из записей пригодились, я раздал интересные высказывания, находки, жесты, что были взяты из жизни, своим персонажам в рассказах, пьесах, сценариях, и это сделало их более жизненными, более рельефными, полнокровными и убедительными образами. Теперь, когда я изредка просматриваю свои обрывочные записи, я будто возвращаюсь в то время, назад лет на тридцать, сорок, и многое оживает перед глазами, память пробуждается, опираясь на верные ориентиры. Эти записи я порой просматриваю, в отличие от готовых произведений, перечитывать которые я не люблю. Может, причина кроется в том, что теперь я иначе написал бы то, что написано много лет назад и даже недавно; что это вызовет неприятное чувство сожаления, но человек не может оставаться таким же, каким был в прошлом, он меняется, и вместе с ним меняются его взгляды на жизнь, на мир, на людей...

Недавно видел я сон; ничего странного, если учесть, что я каждую ночь вижу

сны, но дело в том, что обычно сны мне снятся фантастические, сюрреалистические, абсурдные, над которыми самый выдающийся экстрасенс или, как его там – толкователь снов, вывихнет мозги, толкуя; а тут нет – вполне реалистический сон, хоть причисляй его к жанру соцреализма, все, как в жизни, даже запахи реальные, но без красок, сон черно-белый, что тоже символично. Короче, приснился мне наш дорогой черно-белый господин министр. Почему наш? Потому, что я некоторым образом тоже причисляю себя к людям, имеющим отношение к культуре, но абсолютно никакого – к Министерству культуры. Но с господином министром как раз происходит обратное. Господин министр пожал мне руку. Он, как всегда, был в прекрасном дорогом костюме от Валентино (экслюзив!), прекрасном настроении, и даже во сне от него пахло прекрасным одеколоном (Кашарель, оригинал). Я понюхал ладонь после рукопожатия господина министра и тут же стал гордиться, что отчасти приобщился к его прекрасному запаху. Понюхав немного ладонь, я во сне вернулся к реальности и понял, что она мрачновата. И стал жаловаться ему:

– Мой дорогой господин Министр, – проговорил я. – Вот уже несколько лет ни один мой проект в вашем министерстве не двигается с места. Вы что же, думаете, писатели живут по триста лет, как вороны? И могут ждать годами, когда их проекты реализуются?

– Мой дорогой писатель, – в тон мне ответил он, моментально придав лицу скорбное выражение, и я понял, какой талантливый лицедей, умеющий мгновенно перевоплощаться, погиб в нем. – Пример классиков показывает, что иные живут и в самом деле не меньше ворон, по двести, триста, а то и более лет...

– Однако хотелось бы еще при жизни... вкусить, – нерешительно и еле слышно перебил его я, но он услышал.

Услышал и отреагировал. Что вы хотите – министр.

– Что же мне делать? Ведь все мои чиновники, забыв свои прямые обязанности, стали писать сценарии и пьесы, мало того – их жены, тещи и покойные бабушки тоже стали писать, как с цепи сорвались. Это же так выгодно. Так что ты должен понять. Ты должен подвинуться и дать место их женам, тещам и покойным бабушкам. Кроме того, есть у нас драматурги, которые пишут руками и ногами. Выходит – за четверых. Им ты тоже должен дать место. Так что извини – подвинься. Ты же профессионал, ты поймешь.

– Но, мой дорогой господин Министр, – стал робко возражать я против столь железной логики. – Я должен зарабатывать деньги своим трудом, как зарабатывал сорок с лишним лет, дорогой господин Министр, – даже во сне слово «Министр» у меня получалось с большой буквы, не знаю уж как, но чувствовал – с большой. – На эти деньги я покупаю себе покушать.

– Что я могу тебе сказать, – развел руками Министр. – Напомню тебе, что говорил великий Толстой в назидание молодым писателям – ты ведь, по сравнению с Толстым, молодой? – так вот, он говорил: «Писатель должен быть голодным», конец цитаты. Или, по крайней мере, полуголодным. А ведь ты – писатель, и не просто писатель, а писатель с большой буквы Пи. Так что пусть непрофессионалы кушают и завидуют тебе.

– Спасибо, мой дорогой господин Министр, – сказал я во сне. – Вы очень меня поддержали... морально. Раньше я думал, что жизнь материальна, а теперь, после разговора с вами, вижу – ан, нет, есть и моральная, духовная сторона жизни. Спасибо. Век вас не забуду, век воли не видать!

Посторонним, людям, далеким от искусства, кажется, что для того, чтобы делать то, что делаешь ты, надо иметь семь пядей во лбу, что это невероятно сложно, что пуп надорвешь, пока получится, да и то – вряд ли получится, лучше и не браться. А все очень просто: каждый должен заниматься тем делом, что в нем заложено, запрограммировано, к чему есть призвание. Если это в тебе есть, если ты именно ради этого дела появился на свет, то оно и получится, но если ты полезешь не в свое... Мне всегда казалось, что фантастически трудно руководить людьми, быть хорошим организатором, повести дело так, чтобы тебя слушались и тебе доверяли. Это было выше моего понимания – ведь люди такие разные, как же их начальник, организатор добивается того, что из таких разных индивидуальностей создает слаженно работающую команду? Для меня это всегда оставалось загадкой, потому что я в любом человеке видел, прежде всего, ни на кого другого не похожую, неповторимую личность, индивидуальность, и представить не мог, как можно многие индивидуальности слить в массы, под каким гипнозом, благодаря какому волшебству они уживаются и работают вместе? Или же ремонт квартиры – мне кажется, что это невероятно трудно, не каждому по плечу. Или же преподавать в школе, работать с детьми; ведь они никого не хотят слушать. А учителей ненавидят, потому что они лишают их свободы, не дают делать то, что им хочется. Всего этого я не умею, и потому мне это кажется невероятно сложным. Но есть люди, которые именно это умеют, профессионалы в своем деле. Я ими восхищаюсь и думаю о них, так же, как, наверное, и они о писателях, когда считают, что точно и эмоционально изложить свои мысли – это адский труд.

Малышу три года, у него кривые, колесом, ножки, веселый нрав, лукавый взгляд... Он смотрит на небо, ясное, августовское небо; плывут кудряшки перистых облаков, и при определенном воображении каждое из них можно с чем-то сравнить – что он и делает, показывая на них пальчиком, – с бегемотом, со скалой, с акулой, с волной... Малышу три годика, и вся жизнь у него впереди, все ему пока предстоит, и он чувствует, что впереди – большая дорога, и многое должно произойти, может, поэтому он весел, улыбается; у него есть родители – отец и мать, они смотрят на него и тоже сдержанно улыбаются, и сердца их обливаются горячей волной счастья оттого, что он у них есть...

Но как же так случилось, что из всех жизненных вариантов он выбрал самый нелепый?! Что из всех профессий в мире он выбрал и посвятил свою единственную жизнь самой непостижимой и неблагодарной – выворачиваться наизнанку перед публикой в смертельном номере (для вас весь вечер на манеже со смертельным номером!), убийственном поиске слов, в изнуряющей погоне за мыслью?! Отчего ему не сиделось спокойно, куда его кидало и заносило, почему бы ему – на радость родителям – не выбрать было спокойную, тихую, прибыльную, уважаемую профессию и медленно, гордо задрав голову, идти по жизни и стариться с чувством собственного достоинства, хотя бы и напускным?!

И не зря появляется ехидная усмешечка на лице вопрошающего: «А над чем сейчас работаете? Что новенького пишете? Чем порадуете своих читателей?» Дополним: когда еще вывернете себя наизнанку на потеху нам, публике? Правда, смешно? Забавно, забавно... Еще забавнее будет, если вспомнить, что профессия эта с каждым днем теряет своих истинных ценителей, тает, тает количество настоящих читателей, как случайный снег в мае, и что дальше, что будет в недалеком будущем? А в далеком?.. А вообще?.. Высокопарные слова о том, что писатели призваны вести за собой массы, что они в первых рядах интеллигенции своего народа, лет сорок,

пятьдесят назад вполне оправданные хотя бы потому, что книги читали миллионы людей, сейчас потеряли смысл и продолжают терять все больше, все больше, народ занят совсем другим, ценности стали совершенно другими, люди стали другими. Нет, не ностальгия, но будущее представляется фантастически мрачным для людей интеллектуальных профессий, и в первую очередь для писателей.

Так что же ты, мальчик, уставился в небо, смотришь на облака, устремился взглядом и мечтами в заоблачные выси?..

– Смотри, ма, вот акула! А вот бегемоты летают!

Надо было под ноги смотреть, выбирая путь...

Но, с другой стороны, как не выбирают родителей, как не выбирают родину, так порой не выбирают и профессии, которые выбирают нас сами.

Я полон противоречий, а эта вещь, что я сейчас пишу, отражает мой внутренний мир, не знаю, насколько успешно, но стараюсь, чтобы хоть в какой-то мере отражала. А законы прозы, которым я во многих своих произведениях беспрекословно подчинялся, рамки и клетки, в которых должна вскипать и доходить, как тесто в кадке, проза, это мы оставим до следующего раза, потому что этой вещи, что я сейчас пишу, законы не писаны, и к ней нельзя подходить с обычными мерками. Так что не подходите.

Был период в моей жизни (но в большей степени в жизни моих родителей, когда я им не давал жизни), мне было тринадцать, и, как уверяли родители, к тому времени я был законченным бандитом. Впрочем, бандитом я стал как-то сразу, без всякого перехода от обычной, мирной жизни подростка, мало чем отличавшегося от остальных своих сверстников, к тревожной, безалаберной, бесшабашной даже не жизни, а может, времяпрепровождению, точнее будет – времяубиванию, что разом пришло на смену существованию ученика седьмого класса. Не буду ничего говорить о пресловутом переходном возрасте, издержки которого испытывают на себе все в таком возрасте, но я, кажется, перегнул палку во всех отношениях: три привода в милицию, бесконечные вызовы в школу родителей, прогулы уроков и драки прямо перед школой, когда в ход пускались тяжелые цепи, кастеты, самодельные дубинки, курение по кругу с великовозрастными бездельниками и хулиганами папирос с анашой во дворе школы – во всех этих проделках и во многих других я, член одной из уличных шак, был главным персонажем. Дома было не лучше: я вечно огрызался на упреки мамы и умело пользовался невмешательством до поры в мои дела отца. Однажды, после очередной массовой драки по пустячному, как всегда, поводу, я вернулся домой весь окровавленный: кровь хлестала из носа, который всегда у меня был щедрым на кровь, капала из уха, передний зуб был разбит чьим-то кастетом... Я тихо пробрался к крану посреди нашего общего, на несколько семей, дворика, стал умываться, стараясь не шуметь, но мама, видимо, что-то почувствовав, вышла, встревоженная, из квартиры и застала меня, смывавшего кровь с лица.

– Что?.. Что случилось?.. С тобой что?.. – заикаясь от волнения, невразумительно стала спрашивать она.

– Нитсево, – прошепелявил я, осколок зуба мешал говорить нормально. – Зайди домой!

– Как? Как это – зайди?.. – всполошилась она, успев разглядеть мой затекший глаз, кровь из носа. – Что с тобой?

– Ничего, сказал! – огрызнулся я. – Отстань!

Диалог завершился тем, что мама поспешно вошла в комнату, переоделась и

бросилась бежать за отцом, к нему на работу. На крик матери выскочили из своих квартир соседки, окружили меня и стали помогать мне умыться, привести себя в порядок, и главное – не дать мне убежать до прихода матери.

Некоторое время в нашем классе проучился мальчик на год старше меня, он был уже к этому возрасту отпетым хулиганом и теперь сидел в колонии для малолетних преступников, осужденный за драку с поножовщиной. Я с ним недолго дружил и, как говорили, попал под его влияние. Очень уж в том, подростковом возрасте, мне хотелось проявить себя. А чем еще я мог проявить? Я выбрал самый короткий путь.

Одним словом, пока соседки меня умывали, мазали йодом и перевязывали, всячески подавляя мое сопротивление, мама привела отца.

Вечером на семейном совете было решено, что завтра отец отведет меня, вернее, отвезет, в интернат, расположенный в пригородном поселке.

– Может, там поумнеешь, – сказал он коротко.

– А чего я там не видал? – поддельваясь под блатного, развязно спросил я.

Отец молча посмотрел на меня, но от его взгляда у меня мурашки побежали по спине. Он никогда не бил меня, ни разу в жизни не поднял на меня руку, но я всегда побаивался его, его крутого характера, и стоило мне проштрафиться в очередной раз, как я начинал всячески избегать встречи с ним, разговоров, выяснений, «толковищ», как тогда блатные – а я вслед за ними – называли такие беседы.

– Увидишь, – коротко сказал он, – то, чего не видал. Не хочешь жить дома, как человек, попадешь в колонию, как твой дружок.

– Посмотрим, – не совсем понятно ответил я, желая оставить за собой последнее слово.

– Пошел спать, – сказал отец. – Завтра поедем.

Утром отец разбудил меня, я вышел во двор, умылся под краном, почистил зубы; соседки из своих окон внимательно и жалостливо смотрели, как я умываюсь, видимо, все уже были осведомлены о моем отъезде. Мама со слезами на глазах молча (видно, подготовленная отцом, как следует себя вести в то утро) подала мне завтрак; я выпил чашку чаю и не притронулся к бутерброду, а мама, всегда заставлявшая меня доедать завтрак, на этот раз даже не отреагировала. Мы с отцом вышли из дома. Стояла зима, декабрь, и хотя было не холодно, но мне сделалось совсем тоскливо оттого, что именно зимой, когда дожди и мокрый снег, когда природа так неприветлива, я покидаю свой дом. Мы сели в автобус, чтобы доехать до пригородной электрички. Отец всю дорогу молчал, но за руку меня не взял, пока мы шли. «Ну и что? – подумал я. – Я же не ребенок, это было давно, целых три года назад, а теперь я вырос». Но когда мы садились в вагон электропоезда, я немного струсил.

– А как вы без меня будете? – спросил я через силу, с комом, подступившим к горлу, но стараясь сохранить заносчивый вид – мол, не о себе думаю, о вас с мамой.

– Ничего, – спокойно ответил отец, будто ждал подобного вопроса. – У нас еще есть твоя сестренка. Надеюсь, она не будет нас так огорчать...

Я промолчал. Тут не возразишь, нарожали запасной вариант, подумал я. Мы приехали в детский дом-интернат в большом поселке в часе езды от города. Отец оставил меня в коридоре возле двери, на которой было написано «Директор», а сам вошел в эту дверь. Вышел он примерно минут через двадцать.

– Заходи, – сказал он, придерживая директорскую дверь.

Я вошел в кабинет директора. Сейчас, вспоминая, я понимаю, что это была небольшая убогая комната, давно не отремонтированная, с облупившимся сейфом в углу,

дряхлым письменным столом, большим портретом Хрущева на стене в центре прямо за спиной директора, и маленьким, без рамы, портретом Сталина, уже достаточно красноречиво характеризующим хозяина кабинета; но тогда кабинет мне показался довольно грозным помещением, где перевоспитывают непослушных, хулиганистых юнцов, изображающих из себя воров и бандитов.

Директор интерната строго оглядел меня и, видимо, остался недоволен обзором.

– Хорошо тебя разукрасили, – констатировал он. – Что ж, здесь ты будешь среди своих. – И неожиданно истошно завопил в дверь: – Агабала!

Я вздрогнул от этого дикого окрика, подозревая, что Агабалу зовут для того, чтобы расстрелять меня на месте.

Агабала явился, кажется, с часовым опозданием.

– Ты спал, что ли? – спросил директор, строго оглядывая Агабалу, в точности как меня перед этим явлением.

Агабала, здоровенный детина лет сорока, молча, виновато развел руками.

– Агабала, поведи его в общий зал, покажи его койку... – сказал директор. – Да обыщи сначала как следует, чтобы ничего такого не пронес с собой, – он обернулся к моему отцу и доверительно сообщил ему. – Мы тут каждый раз конфискуем у них всякие железки, ножи, а через некоторое время они снова появляются. И откуда только берут, сволочи!..

Агабала легонько тронул меня за плечо, но от его легонького прикосновения я чуть не полетел на пол. Я оглянулся на отца – не попросается ли со мной? – но сзади наседали на меня сто килограммов живого веса, и я вынужден был поспешно покинуть кабинет директора.

В общем зале, куда, предварительно обыскав, молча втолкнул меня верзила Агабала, находилось человек тридцать мальчиков от семи до шестнадцати лет. Когда я вошел, некоторые обернулись и посмотрели на меня, а один из них, мальчик постарше, как видно, главный подошел и спросил меня:

– Сигареты принес?

– Меня обшманали, – сообщил я ему с таким видом, будто у меня были сигареты, но их отняли перед тем, как я вошел сюда, к ним.

– А... этот ограш, Агабала?

Подошел другой мальчик, лет десяти-одиннадцати.

– Новенький? – спросил он, окидывая меня взглядом бывалого главаря шайки.

– Сигареты есть?

– Пошел на место! – сказал ему первый мальчик, даже не взглянув в его сторону, и тот тут же отступил назад.

Все мальчики здесь были круглыми сиротами или брошенными матерями, незаконнорожденными детьми, которых государство поместило в интернат, кормило, одевало и обучало. Кормило и одевало, как тут же выяснилось, очень плохо: все они были бледные, худые, носили потрепанное старье, а обучало, как оказалось, еще хуже: мало кто имел представление об элементарных азах школьных предметов, тех, которые ученики пятых-шестых классов нормальных школ уже давно усвоили. Но зато уроки труда, где обучали слесарному, столярному, плотницкому ремеслу, они знали довольно неплохо и приобрели даже хорошие для своих лет навыки, всячески игнорируя вместе с обучавшим их преподавателем технику безопасности, что сразу было заметно по ним: у одного была перевязана рука, у другого не хватало боль-

шого пальца на правой руке, шрамы на лицах, поврежденный глаз и много других телесных повреждений, красноречиво говорящих о травмах на производстве, на которые руководство интерната, видимо, смотрело сквозь пальцы, украшало этих ребят: кому они нужны, беспризорные мальчишки, кто за них спросит?

Были среди них неплохие ребята, как выяснилось после недолгого общения, мальчишки, не лишенные здравого смысла, и всех их заботила – особенно старших – одна главная мысль: что будет с ними, когда их, окончивших обучение, выкинут из интерната? Я не мог ответить на этот вопрос, да они особенно и не приставали ко мне с ним, со своим главным вопросом, считали, что я такой же, как они, отпетый, с очень туманным будущим, что я – один из них. Я не стал их разуверять. Но ночью мне вдруг сделалось очень тоскливо, я даже физически всем телом ощущал эту тоску: стал неожиданно задыхаться (противная вонь казенного одеяла лезла в нос и немало способствовала этому), дрожь била меня, как в лихорадке, так что я еле сдерживал слезы; я ведь привык жить дома, с родителями, говорить с ними, пить чай и есть, когда захочется, да, кроме того, еще и когда маме захочется; а тут все было по расписанию, все было невкусно, убого, тоскливо, свет выключали с девяти вечера, а в шесть утра нас всех разбудил овраш Агабала.

Меня он отвел в кабинет директора. Тот сразу приступил к допросу.

– Ну, как? Понравилось у нас? Мы можем надолго оставить тебя здесь, хочешь? Или все же тебе лучше пожить дома? Смотри, если ты опять будешь плохо себя вести и беспокоить родителей, уже надолго попадешь к нам. А может, и прямоком в колонию, ты понял?

Я кивнул, еще не понимая, к чему он клонит. Но тут за спиной у себя почувствовал что-то знакомое, родное, обернулся и увидел отца.

– Вот... Твой отец на этот раз тебя прощает, но смотри... – пояснил директор.

Директор не был слишком красноречивым, он вообще не был красноречивым и не умел долго говорить, это их с моим отцом роднило, как и их долгая дружба, о чем я узнал позже; и мой отец решил таким образом, наглядно, так сказать, опытным путем, без дальних слов показать мне, что меня ждет, куда я могу скатиться, если не откажусь от своего не приемлемого для них с мамой поведения. Это, как оказалось, был хороший урок; на меня, по крайней мере, он подействовал гораздо лучше, чем многословные нотации и назидательные разговоры, которые взрослые часто вели со мной и дома, и в школе, и я спустя годы понял, как прав был в своем решении отец, который не хотел терять меня, старался направить по верному пути. Я постепенно отошел от своих дружков, ни одного дня у которых не обходилось без драк и криминальных приключений (отход, однако, тоже не был бескровным, не обошлось без выяснений), стал более вдумчиво, серьезно заниматься, снова вернулся к книгам, которые временно заменила мне «блатная жизнь», и постепенно тот короткий опасный период в моей мальчишеской биографии начал вспоминаться, как канувшее в бездну памяти потерянное время, как дурной сон, когда я споткнулся, сонный, на ровном месте и мог бы упасть, если б не мой отец. Но даже этот маленький опыт мне пригодился в дальнейшем, память услужливо восстанавливала отдельные эпизоды, и я их старался использовать в своей профессии.

Какими бы горькими и безрадостными ни были иные из детских впечатлений, живущих в наших душах, но даже их вспоминаешь с хорошим чувством, с чувством, которое, как теплое течение, проходит через всю нашу жизнь.

В детстве, когда я заканчивал читать очередную книгу, которую домысливал и

дополнял своими фантазиями, у меня появлялось такое ощущение, будто что-то важное ушло из моей жизни, а точнее – будто ушла одна из моих жизней; теперь то же самое происходит со мной, когда я заканчиваю писать очередную книгу: появляется такое чувство, словно я прожил и завершаю одну из своих жизней. И это лишний раз доказывает, что жизнь вращается по кругу, что на более высоком уровне она возвращает нам уже однажды испытанное: наши ошибки, наши победы и утраты, печали и радости...

Литература не терпит назидательности, потому что назидательность убивает её, делает литературу скучной, вялой, неинтересной, в итоге – отталкивает читателя, вместо того, чтобы привлекать. Но раз человек взялся писать, иными словами – поучать людей, учить их чему-то, то назидательность так или иначе себя проявит, особенно у молодых писателей, полных апломба и высоких идей, которые они поскорее хотят донести до масс. В какой-то степени это напоминает оратора, выступающего перед аудиторией: подсознательно он должен считать себя умнее всех, кто присутствует в зале, чтобы говорить с уверенностью; если он будет неуверен в себе, не уверен в том, что он – самый умный и осведомленный и то, что он говорит, является для всех открытием, чем-то новым, о чем никто из присутствующих пока не задумывался, то он не сможет выступать, будет сомневаться в собственных словах, заикаться, заискивающе поглядывать на публику – одобряют ли? Так же происходит, когда писатель творит: он должен быть уверен, что он говорит нечто новое, чего пока никто до него не знал. Эта уверенность, однако, таится очень глубоко, в тайниках души и сознания, и всплывать ей не позволяет множество других ощущений, что водят рукой автора. Например, ощущение того, что он творит по вдохновению, неосознанно, хотя в большинстве случаев оно, это ощущение, обманчиво, потому что постоянно в мозгу профессионального писателя, независимо от него самого, вертятся законы прозы, заставляющие его идти проторенным путем, уже открытым задолго до него. Постоянно и неустанно маленький «умник» в голове автора направляет, настойчиво советует: «Вот здесь поярче, продвинь вперед, акцентируй, а тут притуши, это вообще убери, рано...» и так далее, и тому подобное. И автор слушает, выполняет. А куда деваться? Этот умник – и есть ремесло, к чему шел годами. Но есть состояние в творчестве, абсолютно необъяснимое, когда рукой автора водит не трезвое сознание, а нечто неуловимое, трепещущее, тонкое, как предутренние сны, и он пишет, не очень вникая в текст, но чувствуя, что путь верный, и этот сон нельзя нарушать, нельзя искусственно прерывать, как нельзя будить лунатика, осторожно передвигающегося по ненадежному карнизу окна на десятом этаже; с этого пути нельзя уходить в ремесло, иначе потеряется тайна, на которой и построено все настоящее искусство. Но приходит утро, и, просмотрев свои ночные записи, автор понимает, что ремесло, профессия непременно должны вторгаться в то, что продиктовано необузданным – без рамок и ограничений – вдохновением. И он начинает, как настоящий труженик, стараться: редактировать и исправлять, шлифовать и отсекать, дополнять и строить заново фразы, без нужды объяснять непонятное, выстраивать и направлять сюжет, возводить и громоздить, разрушать воздушный замок и строить реальный скучный дом. И тут он не прав, и, как показывает практика, первый вариант всегда бывает лучше, свежее, оригинальнее, чем обработанный, выструганный и обтесанный в угоду читателю.

У каждого писателя есть вершина его творчества, так называемая «лебединая песня», наиболее известное и читаемое произведение, которое, по сравнению с дру-

гими его книгами, прожило дольше, стало известнее и шуму наделало больше. Однако часто бывает и так, что читатели принимают за «вершину» ту или иную книгу, руководствуясь одной лишь популярностью произведения, тогда как автор не приемлет такой оценки, считая, что это ложная вершина, кажущаяся вершина, и многие из его вещей, написанные после «вершины», намного сильнее, интереснее, глубже... Ну, что ты будешь делать! Мнения автора и читателей могут не совпадать, и в большинстве случаев не совпадают. В моей практике бывало подобное: мало того, говоря об одной из моих книг, многие читатели настойчиво уверяли меня, что я ошибаюсь, допуская, что их любимая книга – ложная вершина в моем творчестве, это не может быть так, потому что им нравится. Логика, как говорится, железная. Конечно, с одной стороны, приятно, что вообще есть нечто, что можно принять за вершину, но трудно убедить людей, что они заблуждаются, приняв ложные ценности за истинные; гораздо легче внушить читателям, что то, что им не понравилось, – шедевр. На это они могут пойти. Но убеждать, что то, что понравилось, то, что они не раз читали и перечитывали, слабо, никуда не годится, – это, доложу вам, неблагодарная работа. Да и кому нужно убеждать, пусть думают, что хотят...

Я не люблю в своих вещах делать географические привязки и только по необходимости могу допускать исключения. Мне хочется, чтобы то, что я описываю, могло случиться везде, во всех странах и городах мира, и чтобы это было доступно пониманию каждого зарубежного читателя. Любая талантливая вещь должна быть космополитской. Старая истина, которая никак не дойдет до доморощенных националистов, местечковых ура-патриотов от литературы, выдающих на-гора трескучие стихи и деревянную прозу.

Если построить диаграмму... вообще-то, я хотел сказать – кардиограмму того, что я пишу, получилась бы вполне привычная линия взлетов и падений, острые зубцы вверх-вниз, вверх-вниз, все, можете одеваться, больной, вы вполне здоровы, кардиограмма нормальная, но вот с головой – не уверен...

– Доктор, а с такой головой можно еще немного?..

– Немного что?

– Немного пожить?

– Думаю, да. Оглянитесь вокруг: они все такие, все похожи на вас.

– Доктор, я потратил много лет, чтобы не быть ни на кого похожим, что же теперь?.. Все впусую?..

– Не знаю, не знаю... Вам лучше поговорить с психиатром. Если хотите, могу дать телефон...

В общежитии Литературного института нередко бывали случаи, когда студенты покушались на свою жизнь, так сказать, желали срочно и немедленно наложить на себя руки; часто такое происходило в нетрезвом состоянии, наутро такому студенту было стыдно смотреть в глаза сокурсникам, прослышавшим о его ночном подвиге, но проходили дни, месяцы, и студенты, занятые каждый своим делом, старались не вспоминать о давнем происшествии. Кто-то бросался вниз головой из окна комнаты на шестом этаже. Неудачно. Зацепился за толстую ветку дерева и повис на уровне второго этажа. Кто-то собирался вешаться, но долго собирался, пока неудавшегося висельника не обнаружили с веревкой на шее, готового уже вот-вот спрыгнуть со стула. Однажды какой-то маньяк среди ночи ходил по коридорам и на кухнях всех этажей открывал газ в плитах, и только по чистой случайности недремлющие студенты вовремя пронюхали, именно пронюхали, потому что происходил акт массового

террора зимой, и все окна были закрыты, так что газ в помещении накопился быстро, и террорист-камикадзе был вовремя схвачен и скручен, а окна мгновенно были распахнуты настежь, внося бодрость и морозец в глубокий сон спящих гениев, чтобы он стал еще глубже.

Как-то мы, уже студенты четвертого курса, сидели в моей комнате и разговаривали о том, о сем, решали мировые проблемы и распределяли между собой Нобелевские премии текущих лет за неоценимый вклад в мировую литературу, когда в комнату ворвался мой земляк с первого курса и прямо с порога заорал:

– Мамед повесился!

– Да? – спокойно отозвался один из нас, отхлебывая жуткий позавчерашний чай из жуткого, месяцами не мытого стакана (который, заметьте, он принес с собой), – И сколько весит?

– Не взвесился, а повесился! – прокричал, все еще не входя в комнату, первокурсник, на которого страшно было смотреть – весь белый, как наволочка после стирки, трясется.

– Не ори, я хорошо слышу, – ответил ему наш товарищ. – Это я пошутил.

– Ничего себе шуточки! – сказал пришедший с черной вестью (и я пожалел, что нельзя, по старому обычаю, отрубить ему голову, чтобы не орал). – Человек вешается, а он шутит.

– Ну, в этот раз, надеюсь, окончательно повесился, или опять нет? – спросил другой наш товарищ.

Первокурсник молча помотал головой.

– Ну, вот видишь? – сказал спрашивавший. – Ты здесь человек новый, а мы все знаем, что Мамед вешается чуть ли не каждый учебный год, причем всегда при открытых дверях и на гнилой веревке, так что не тревожься, а пойди почитай ему свои стихи, от них ему точно захочется повеситься уже по-настоящему.

Я часто вижу во сне умерших. Умерших родных, умерших близких, умерших малознакомых, шапочно знакомых, вовсе не знакомых... Будто я сплю на диване в каком-то кабинете в роскошном офисе, а они толпятся в приемной, вполголоса, но возмущенно что-то обсуждают и ждут моего пробуждения. Я просыпаюсь с чувством вины, что проспал, не знаю конкретно, что именно, но проспал что-то очень важное, и мертвые, собравшиеся в приемной, ожидают меня, чтобы отчитать... Я вылезая из-под одеяла, но тут же ныряю обратно, начинаю возводить из одеяла избушку, домик, в котором они меня не достанут, прячусь в этом домике, как в детстве прятался, строя свой мир, куда нет доступа взрослым, кто видит в одеяле всего лишь одеяло, но никак не домик, где я укрываюсь от всего мира, прячу свой мир от всего мира.

– Вставай, лентяй! – говорит мама, сдергивая с меня одеяло.

– Ты разрушила! – плачу я. – Ты разрушила мой домик.

– Поднимайся, тебе пора, – говорит она настойчиво. – Ты должен поехать на кладбище, умер папа, он тебя ждет в приемной...

Я выхожу из кабинета босой, с одеялом на спине, как улитка со своей раковиной-домиком, чтобы спрятаться в любой момент, если возникнет опасность, и вижу, что люди в приемной уже рассеялись, никого нет, стало тихо, а посреди большой комнаты в инвалидном кресле сидит кто-то, и я знаю, что это мой умерший отец, но он не похож на отца, каким я его помню, и всё отворачивается от меня, прячет лицо, не хочет, чтобы я видел его лицо.

– Папа, – зову я.

– Тс-с-с! – тихо шикает он на меня. – Здесь нельзя повышать голос, ты разве не видишь: мы на кладбище...

Я протягиваю руку, чтобы прикоснуться к нему, но он отъезжает на своем кресле, тихо, но грозно бормоча:

– Видишь, что случилось со мной? Мне совсем плохо, теперь я должен лежать под землей неподвижно. Но ты же знаешь, как я любил двигаться, я не могу лежать так неподвижно. А придется лежать так под землей всегда... Слово «всегда» понимаешь? **Всегда**...

Я вздрогнул. Слово будто пронзило меня, я стремительно полетел в головокружительную черную бездонную пустоту, мне сделалось страшно. Тут я проснулся, открыл глаза, рядом – никого...

– Всегда, – прошептал я.

Меня издавна интересовала тема неадекватного поведения человека, психического расстройства, я много писал на эту тему, читал работы Фрейда и Юма, мне близка была философия Канта, утверждавшего, что мир представляется нам искаженным, как в кривом зеркале; я наблюдал поведение душевнобольных, но многие мои вещи, написанные о душевном расстройстве, так или иначе, независимо от меня, превращались в прозу абсурда, или же в рассказах появлялись элементы сюрреализма, что уводило автора от реальных мотиваций характеров. Мне хотелось влезть в образ, в шкуру характеров, самому понять и прочувствовать, что это такое. Когда однажды я признался в этом своем тайном желании близкому человеку (да и то, когда уже все тосты были исчерпаны и мы сидели, молча и тупо уставившись на свои пустые стаканы), который, как я надеялся, поймет меня, он, заплутавшись в поисках моего лица, глядя в угол комнаты мутным взглядом, нечленораздельно произнес:

– Заг-г-ля-ля фс себя, – и хихикнул.

– Как? – не понял я.

Тогда не в силах еще раз объяснить словами, он показал пальцами на свои глаза, а потом теми же пальцами – на живот.

Это надо было понимать так, что я и есть душевнобольной и далеко ходить не надо, а покопаться в себе. Тут мне вспомнилась фраза из «Вечеров...» Гоголя: «Тому не надо ходить далеко, у кого черт за спиной!» Да, черт был во мне, надо было его просто вытащить на свет божий и показать, и прежде всего самому себе. Сначала я обиделся на предложение товарища «заглянуть в себя», но пока только обиделся на сопровождавшее это предложение хихиканье, что и делало его отчасти шутливым; но после, подумав, я понял, что он прав, что в любом из нас живет психически «неполноценный» человек и время от времени поднимает голову и заставляет совершать непредсказуемые поступки, подвергаться депрессиям, бросаться в безумства, изумлять своими действиями окружающих, которые считают, что достаточно хорошо изучили нас, не понимая, что мы сами еще недостаточно изучили самих себя, и, может, на это не хватит целой жизни...

Однажды ко мне обратился один известный режиссер и предложил вместе с ним сделать фильм про обитателей сумасшедшего дома на сломе времен, когда в нашей стране царили безвременье, переход к рыночной экономике, разгул безмозглых рвачей, бардак и когда я как раз обнаружил, что пишу совершенно не свойственную мне до того момента прозу абсурда. Я тут же загорелся его предложением и взялся за работу, понимая, какие золотые залежи, какой интересный материал может таить в себе эта тема именно в такое абсурдное время, что сейчас мы пере-

живаем. Я стал посещать психиатрические больницы, одна из них была в городе, как раз недалеко от моего дома (видишь, как удобно, если что у тебя с головой, не придется далеко ходить, – шутил режиссер), другая была в поселке, приблизительно в полчаса езды от города. Я посещал, с разрешения дирекции, больницы душевнобольных, беседовал с пациентами, иногда подолгу, спрашивал о добольничной их жизни; они охотно общались со мной, многие из них, кстати, любили поговорить, да так, что трудно было их перебить и направить разговор в нужное русло; но я очень редко замечал, чтобы психически больные совершали прилюдно какие-нибудь слишком уж неадекватные поступки, были бы подвержены слишком бурным эмоциям и выхлестывали подобные эмоции на окружающих. Конечно, были и буйно помешанные, но мне не нужны были крайности, нужно было показать обычных, тихих больных, подверженных частым и глубоким депрессиям, в результате чего они периодически и попадали в лечебницу. Условия содержания и лечения этих несчастных в больнице оставляли желать много лучшего, я и это намотал себе на ус, отметил для будущего. Мало чем отличалось их пребывание в клинике от условий, описанных в рассказе великим Чеховым. Часто персонал, санитары, которых не хватало в штате, брали себе в подмогу людей из числа больных, когда возникали экстремальные ситуации, и те справлялись не хуже самих санитаров, накопив большой опыт за время пребывания в больнице, скручивая руки и избивая «провинившихся», своих товарищей по несчастью.

Сюжет сценария был очень, на мой взгляд, интересный, не буду его пересказывать, фильм состоялся, давно вышел на экраны, но самым необычным в нем была идея: в смутное время (вернее – безвременье) перехода к рыночной экономике, когда каждая организация, каждое учреждение должны сами о себе позаботиться, когда государство перестало отпускать субсидии на содержание даже таких клиник, как психиатрические лечебницы, главврач больницы объявляет о роспуске медицинского персонала и, естественно, больных по домам. Душевнобольные, большую часть своей жизни проведшие в больнице, возвращаются каждый к себе домой, но дома, мягко говоря, их не ждут с распростертыми объятиями, они – обуза для домочадцев, их не приемлет внешний мир, и по прошествии короткого времени больные, крайне неуютно чувствующие себя «дома», решают вернуться в свой родной сумасшедший дом, который в настоящее время представляет собой как раз самое спокойное и нормальное место во всем городе, где все горожане будто с цепи сорвались, и весь город целиком напоминает сумасшедший дом. Но невозможно просто так взять и вернуться, чтобы вернуться, нужны деньги, на которые в их родном доме будут их содержать и лечить. И вот сумасшедшие пускаются во все тяжкие, чтобы добыть денег...

И это, как ни странно, им удается. Они возвращаются.

И в самом деле, когда кажется, весь мир сходит с ума, сумасшедшие – самые мудрые люди, потому что у них уже есть многолетний опыт схождения с ума, и они могут показать проверенные пути для того, чтобы выжить в подобной обстановке; а сумасшедший дом – самое надежное место, где можно переждать грозное лихолетье.

Получился, на наш взгляд, интересный литературный сценарий, но на фильм в те годы государство отпускало крайне мало средств (для сравнения скажу, что на такую сумму в Москве, я уже не говорю о Европе, снимали в то время трех-четырёх минутные клипы), художественный фильм, как известно, – наполовину искусство, наполовину производство, а производство, как известно, требует денежных вливаний, а денег, как вам уже известно, хватило бы на трех-четырёхминутный клип; так что

многие отличные, интереснейшие эпизоды из сценария пришлось выкинуть, чтобы уложиться в смету. Такие бывали невеселые дела в отечественном кинематографе... Но, с другой стороны, снимать фильмы в подобных условиях было на самом деле почти подвигом со стороны наших режиссеров. А невеселые дела продолжаются, и конца им не видно...

Я несколько раз собирался написать сценарий о маститом, увенчанном, осыпанном всевозможными регалиями литераторе, который всю жизнь заблуждался на свой счет, считая себя настоящим писателем: в той стране, что осталась в нашем прошлом и где писатели, работавшие на советскую идеологию, были в большой чести и привольно жили, эта идея была очень плодотворной, как говорится, попадала в десятку – ведь писатели, всю жизнь посвятившие прославлению дутых псевдоценностей и получавшие за это прославление комфортную жизнь, когда-нибудь, хотя бы на смертном одре, должны были (если они люди неглупые) понять, что жизнь их потрачена впустую, что занимались они не настоящим искусством, как истинные художники по всему миру, а прославлением власть предержащих тоталитарного режима, и это было бы для них огромной личной трагедией; скажем, как для скульптора или художника, всё своё творчество посвятившего созданию образов политических руководителей, которых со временем развенчивают и разоблачают, как врагов народа. Думаю, идея создания такого образа писателя – «прославленного», но в то же время местечкового – очень удачна: можно создать по-настоящему трагичный, глубокий образ изначально талантливое человека, растратившего свой талант не на том пути, на котором становятся великими. Можно было бы придумать отличный сценарий о такой личности, о человеке, который в свое время шагал по трупам, предавал друзей, подписывал всякие клязусы в те грозные годы, когда именно к клязузам прислушивались и им придавалось большое значение; и на таких грязных делах была сделана карьера советского писателя, самого «идеологически правильного писателя» современности... И вот приходит конец долгой, прославленной жизни, и теперь он пересматривает свою жизнь от самого начала и до постели немощного старика, в которой очутился, переоценивает её и понимает... что занимался не своим делом. Эта мысль пронзает его, убивает, но он никому не может рассказать о своей личной трагедии; никому не может признаться, потому что друзей у него не осталось, а родные привыкли видеть в нем убеленного сединами патриарха, который вел правильный образ жизни и никогда не ошибался, и кому они хотели бы подражать. Он умирает, так и не открыв своей жгучей тайны – что всю жизнь играл чужую роль, был ненастоящим.

Но что-то меня останавливало, мешая начать писать этот образ, что-то не до конца формировалось в моей голове, в моем сердце, не пойму... Конечно, из всех деятелей искусств труднее всего на экране показать писателя: работа у него не зрелищная, как, скажем, у художника, рождение полотен которого можно показать с экрана, или даже композитора, которого можно поставить перед дирижерским пультом, или скульптора, певца... В профессии писателя нет динамики, которую любит экран, и это – сложность, но не главная... Вдруг я подумал: тот образ, что я держу в голове, какой он? Отрицательный? Положительный? Разный, конечно... Трагичный. Но я... Я сам... Как бы я повел себя в те годы, в той ситуации, каким бы был? Правда, часть жизни – свою молодость и начало своей писательской карьеры – я и прожил почти в той ситуации, когда свирепствовала тоталитарная идеология и многих непокорных художников и ученых подминала под себя, но мне повезло: я оставался в стороне,

видно, слишком мелкой сошкой считали меня те, кому дано было следить за нашим поведением; я ничего крамольного не подписывал, никого не предавал, не кляузничал, не сводил счеты с врагами руками власть предержащих, но...

Если бы меня вынудили, если бы на карту были поставлены моя карьера, моя дальнейшая жизнь, моя свобода, в конце концов... Как бы я себя повел? Что бы я выбрал – совесть или свободу? При том, что свободу я люблю безумно и не мыслю себя без свободы, а с совести людской наше время стерло все краски, все оттенки... Даже популярное риторическое выражение: «Совесть у тебя есть?» осталось в прошлом веке и уже почти не употребляется. Что бы я выбрал? Свободу, совесть, свободу совести? Что бы я избрал, чтобы жить дальше, не потеряв уважения к себе?..

Все-таки есть ситуации, не побывав в которых, не знаешь ответа...

«Море видеть – хорошо, – говорит мама. – Это хороший сон. Вода – ясность, прозрачность, свет».

Но я вовсе не такую воду видел, хочу объяснить ей и не могу, горло перехватывает страх, не могу выговорить ни слова. А видел я, что плаваю в море и подо мной огромная, километровая, темная толща воды, вот-вот готовая поглотить меня, стоит только ослабить усилия, перестать плавать, не махать руками, загребая воду. И я плыву из последних сил, боясь остановиться, помня о жуткой глубине подо мной, куда в любую минуту я могу медленно, безвольно погрузиться, как камень.

Так я видел море, маму во сне, сон во сне, молча рассказывал ей свои видения, и она, читая мои мысли, успокаивала меня:

– Если даже тебя поглотит море, вода... это хорошая смерть, не бойся...

Я просыпаюсь с бьющимся сердцем и вижу, как сонный подплываю к огромной воронке, водовороту посреди водной глади, которая на этот раз непременно проглотит меня. Все ближе, все ближе жутко крутящийся, засасывающий водоворот...

Мама, мама... можно много раз повторять это слово и никогда – как бывает обычно от бесчисленного повтора – не превратится оно, это слово, в нелепое сочетание звуков, в бессмыслицу, как все другие слова.

Я люблю знакомиться и общаться с людьми в других городах, людьми, не похожими по своим обычаям и характерам на моих земляков; и мои наблюдения дают мне повод утверждать, что люди, живущие в приморских городах и селах, более открыты, более распахнуты душой, чем те, кто живет вдали от моря и, может, даже моря не видел. Это, конечно, обобщенный образ человека, живущего близ моря, потому что люди очень разные и бывает, что как раз напротив – человек, родившийся и проживший всю жизнь у моря, скрытен, скуп, коварен, недоброжелателен; но все-таки это исключение. В основном, это очень открытые, добрые люди, потому что широта и необъятность моря, океана с годами сказываются на характере и мировоззрении, на психике человека, у него перед глазами постоянно водная гладь, необъятность, синяя необозримость, он живет, дышит морской необъятностью. Как же ему можно быть узким душой?..

Зубчик кривой кардиограммы устремлен вверх...

На даче у нас росли абрикосовые деревья и давали прекрасный урожай, абрикосы были сладкие, как мед, сочные, только плохо, что на ветках – теплые в летнюю жару, и срывать и есть их сразу было не очень приятно; надо было их оставить на некоторое время в холодильнике, и тогда они становились прохладными, чудно утоляли жажду. Еще было росшее почти вплотную к забору тутовое дерево, всего одно, с большими черными ягодами – хар-тут, но вот, к моей досаде (досаде начинающего

собственника: чувство, которое у детей и подростков порой болезненно развито), большая часть ветвей этой огромной шелковицы, перевалив через невысокий забор нашей дачи, убежала на улицу, маня и дразня прохожих своими сочными, спелыми плодами. И, конечно, прохожие пользовались ими. А мне было жалко. Я пожаловался отцу, что урожай тутовника пропадает зря.

– Разве зря? – спросил он.

– Ну, конечно, – удивляясь его непонятливости, воскликнул я. – Ты не видишь, прохожие, чужие люди обдирают все ветки...

– А тебе не хватает тут? – спросил отец.

Я не знал, что ответить; конечно, мне хватало, и я по его же настоянию каждое утро натошак до завтрака взбирался на ветку шелковицы и наедался сладких черных ягод; но ведь чужие, думал я, не должны пользоваться нашим деревом, это же наше, они же не в лесу, что так бесцеремонно рвут с предательски перекинувшихся на улицу ветвей наш великолепный тут. При сильном ветре самые спелые ягоды срывались и падали на землю под ноги прохожим, но они их не поднимали, а тянулись руками к тем ягодам, что зазывно качались на ветвях, исходя соком... Меня это злило, и я удивлялся спокойствию отца. Однако его трудно было переубедить, я знал это и не стал спорить, хотя считал себя правым: что же это будет, если каждый захочет брать то, что ему не принадлежит? Тогда пусть эти чужие люди заходят к нам на дачу и обирают абрикосовые деревья или виноградники...

Как-то днем, когда на даче все спали после обеда, а я играл, домысливая и фантазируя по мотивам очередной прочитанной книги, я увидел отца, моющего под краном литровую стеклянную банку. Я молча наблюдал за не свойственными ему действиями, он заметил меня и поманил рукой.

– Пошли, – тихо сказал он и направился с банкой в руке к воротам дачи.

Я поплелся за ним. Мы вышли на улицу. Под нашей шелковицей я увидел пожилую, худую, будто иссохшую женщину, а рядом с ней стояла самодельная деревянная тележка на колесах от дешевой детской коляски, в которой сидела девочка-инвалид лет восьми. Мы застали женщину в тот момент, когда она, подняв с земли крупную ягоду туты, сдувала с неё пыль и песок, чтобы дать ожидавшей девочке. Полезть на дерево, как делали мужчины, чтобы собрать чистые и отборные ягоды, она не могла. Увидев нас, она перепугалась, думая, наверное, что её сейчас отругают, и уже собиралась уйти со своей дочерью в тележке, но отец молча, жестом остановил её.

– Залезь на дерево и собери тут в эту банку, – сказал он мне.

Я проворно полез на самую толстую, обильно оснащенную ягодами ветвь, отец снизу передал мне банку, и я торопливо заполнил её ягодами туты. Отец протянул её женщине, та взяла и быстро ушла, катя перед собой тележку.

– Даже спасибо не сказала, – проговорил я, спрыгнув с дерева, провожая взглядом удаляющуюся фигуру, толкающую перед собой тележку с больной девочкой. Обернулся, чтобы увидеть реакцию отца, но того уже не было рядом, он вошел во двор.

Окно нашей квартиры на первом этаже выходило на улицу и смотрело на стену мечети «Тезе-пир». Ничего интересного, а тем более – веселого на этой стене не было, но когда я бывал наказан за очередную провинность и меня не пускали играть на улицу, я сидел, поджав колени, на широком подоконнике и с завистью смотрел на шумные игры ребят на улице, или же, если и ребят не было, а я отсиживал домаш-

ний арест, смотрел на стену и провожал взглядом редких прохожих. Ску-у-учно-о-о... смотреть на стену, на улицу... очередная книга совсем недавно прочитана, надо её поменять, но наказание касается всего, что я люблю: меня и в библиотеку не пускают...

Мне было семь лет, я сидел на подоконнике и смотрел на пустынную улицу, когда по ней проехал мимо наших окон грузовик, в кузове которого везли огромный металлический каркас. Там находился еще человек, он держался за одну из сторон тяжеленного каркаса, что был вдвое выше него, будто мог его сдвинуть при необходимости. И зачем он там стоял? Вдруг мне сделалось страшно, совершенно беспричинно страшно, я очень живо себе представил, как этот огромный, тяжеленный железный каркас упадет и раздавит человека в кузове. В пяти шагах от нашего окна росло развесистое дерево, платан, раскинув свои мощные ветви, касавшиеся стен нашего дома и противоположной стены мечети. Грузовик, не сбавляя малой своей скорости, проехал под этим деревом, но и этой малой скорости хватило, чтобы металлический каркас, задев низко нависшие ветви, сдвинулся с места и упал, смахнув с кузова и придавив на мостовой человека. Я вскрикнул. Только что я видел, как человек из кузова гибнет под обрушившимся на него металлическим каркасом, но в моих видениях не было и не могло быть страшных подробностей. Теперь из нашего окна я увидел, как огромный, многопудовый каркас, съехав с кузова, упал, придавил человека, видел, как голова человека раскололась, и на моих глазах вытек мозг с кровью из его черепа. Тело убитого задергалось, затряслось, обливаясь кровью; все это происходило в пяти шагах от меня, от нашего окна, я соскочил с подоконника и дико крича, выбежал во двор:

– Человека убили!

И хотел выбежать на улицу, но соседи и мама схватили меня и увели в квартиру напротив нашей, окна которой выходили только на наш маленький дворик. Там меня стали успокаивать, дали воды, но я не нуждался ни в воде, ни в успокоении, мне хотелось посмотреть, рассмотреть подробнее этого убитого человека. Как ни странно, я не был напуган. Испытав вначале шок от впервые воочию в двух шагах от себя увиденной смерти человека, я спустя короткое время почти ничего не чувствовал, я был словно опустошен, на меня напала апатия, непонятная сонливость. Приехала «скорая помощь» и увезла труп с улицы, потом со двора мечети пришел дворник, который гонял нас, «мальчишек-святотатцев», игравших в футбол в этом священном месте, и стал поливать лужу крови водой из ведра и подметать пятно, которое из ярко-красного становилось розовым, все больше бледнело, а потом и вовсе пропало. Но я никак не мог понять, как вот только что живой человек, державшийся одной рукой за железную перекладину каркаса, вдруг в одну секунду падает и умирает, придавленный огромной тяжестью. Я успел разглядеть небритость его щек, усталое, морщинистое лицо пожилого рабочего, он был похож на многих мужчин, что в разные часы проходили по нашей улице. Но как это вдруг – был человек совсем живой, небритый, в темной рубашке, и вот – он уже мертв, сучит ногами, валяется в крови с раздавленным черепом. Я не мог понять... И это было естественно, потому что я еще не воспринимал смерть, не принимал её, отвергал, не верил по-настоящему, что она есть, пока своими глазами не увидел её, но даже тогда не хотел верить, потому что привык не верить, не признавать, что она есть... Это была первая человеческая смерть, которую я видел своими глазами. Позже, когда я рассказал матери, что буквально за минуту увидел то, что должно было произойти, она внимательно посмотрела на меня, но, кажется, не поверила, хотя ничего не сказала. Со мной несколько

раз такое случалось: событие, что я видел перед глазами в своем воображении, через короткое время случалось, и я не знал, как к этому относиться. Видимо, это было нечто из области непознанного в человеческой психике, и так как случалось такое довольно редко и не очень беспокоило меня, я не стал придавать этому большого значения, но использовал мои прозрения в своих сюрреалистических рассказах.

Крамольные сны мои продолжают...

Будто сижу я на металлическом высоком табурете, прибитом к асфальтовому полу посреди темной комнаты без окон, похожей на камеру-одиночку. Со скрипом открывается железная дверь и входит чиновник министерства, чиновник, так сказать, среднего звена, небольшого ранга, но с большими амбициями. Помня о своих больших амбициях и ни на минуту не забывая солидно выглядеть, он небрежно протягивает мне левую руку для рукопожатия. Я сползаю со стула, охваченный благоговением, и двумя руками нежно, осторожно пожимаю, чтобы, не дай Бог, не повредить чего (членовредительство чиновников карается сроком до ста девятнадцати лет в колонии строгого режима, и я помню об этом, как он помнит о своих амбициях), его благоухающую руку с ухоженными ногтями и выщипанными волосками, чтобы рука не походила на обезьянью лапу. После рукопожатия, доставившего мне несказанное удовольствие (что вы хотите – чиновник!), он вдруг заговорил ленивым, усталым голосом:

– А ничего, что я с тобой поздоровался левой?..

– А ничего, а ничего! – радостно подхватил я, желая его успокоить. – Вы, я извиняюсь, так далеко отстоите от меня на социальной лестнице и по материальному благосостоянию, что могли бы даже поздороваться со мной левой ногой. Как говорил Гоголь: сто рублей и пятак... или не так говорил? Ну, примерно так... Вы ведь знаете Гоголя?

– Еще бы! – оживился чиновник. – Это ведь он сказал Пушкину: «Ай да Пушкин, сукин сын!» И тот ушел. Верно я сказал?

– Ой, как верно! Ай, как верно. Лучше не скажешь, – изумился я. – Подумать только, при такой занятости и такие сведения из мировой литературы! Как вам это удается? Уму непостижимо.

– Это наш долг, – говорит чиновник с чувством собственного достоинства, заправив большие пальцы рук в карманы новенькой жилетки и выпятив живот. – А вы... э-э... давно сидите тут?

– Ой, как давно, ой, как давно, – говорю я жалобно. – И кушать не дают.

– Перейдем к делу, – говорит чиновник. – Все-таки я чиновник, госслужащий, так сказать, я не могу тратить время впустую, мне время дорого, каждая минута моя – это золотая минута госслужащего, так что перейдем к делу... – он вдруг замолчал и, как стоял передо мной, так, стоя, неожиданно всхрипнул, прикрыв глаза веками госслужащего.

Я, стараясь не шуметь, тихо дышал в сторону, отвернувшись, но изо всех сил пытаюсь, чтобы моё отворачивание от него не было расценено как осознанный политический выпад в адрес официального представителя министерства. Однако он спал недолго, через минуту, финально всхрипнув, он проснулся, оправдывая свои слова о том, как он в своем официальном статусе ценит свое время, а в конечном итоге – время своего министерства.

– На чем я остановился? – спросил он, удивленно оглядывая комнату и в ней – меня.

– На «так что перейдем к делу», – подсказал я тут же и на всякий случай хихикнул.

– Да! – воскликнул он, удивленно глянув на меня. – А дело вот какое: вы должны, не выходя из этой комнаты, в короткий срок написать сценарий на патриотическую тему. На это вам даются бумага, карандаш и четыре дня. Вы будете писать, а вас за это будут кормить, поить, одевать, обувать и купать раз в две недели.

– А как же?.. – хотел спросить я, чтобы выяснить неувязочку со временем, но он строго прикрикнул на меня:

– Молчать! Не перебивать! С кем говоришь?! Как стоишь?! Смирно!

Покричав, он немного отдышался (а я в это время успел обмочиться от страха, даже во сне чувствуя, как дорого мне может обойтись то, что я так необдуманно перебил его) и продолжил:

– И вот еще что... – он поиграл пальцами, как бы забыв сообщить сущую мелочь. – Подпись под работой будет твоя, моя и моей жены. Естественно, это должно остаться между нами. Ведь нам тоже нужна духовная пища, не все же деньги хапать... Ой, я сказал – хапать? Нет, я хотел сказать – зарабатывать... После вас, писателей, останутся ваши творения, а мы как же?.. Нет, так не пойдет. Я хочу, чтобы после нас, чиновников, тоже остались ваши творения. Ваши и наши. Понимаете? В соавторстве. Что скажете?

Я, онемев от счастья, посланного мне судьбой в лице соавтора, ничего не мог ответить, только мычал нечленораздельно.

– Ничего не можете сказать? – спросил он отечески ласково. – Мычите нечленораздельно от счастья? Ну, ну... Я скажу, чтобы вам принесли бутерброд с икрой...

Но тут я внезапно проснулся, жалея в душе, что не попробовал бутерброд с икрой. Черт, вечно со мной такое происходит! Вот еще бы минуту поспал и поел бы обещанный бутерброд. Ведь эти чиновники так любят выполнять свои обещания...

Крамольные, вещие сны мои...

Талант писателя сродни магниту, который притягивает читателя и не отпускает его, пока он не прочитает произведение до конца. И тогда тоже не отпускает, если книга очень интересная и заставляет задуматься. Лал Бахадур Шастри.

Не вздумайте искать его цитату, это он за обедом сказал.

Был час бездомных собак – пять утра, и они разбудили, спасли меня от этого сводящего с ума сна, сна во сне и еще раз во сне и еще раз, как некогда популярные фигурки матрешки, прячущиеся друг в друге, в животах друг у дружки, или же бесконечные отражения комнаты в искусно поставленных зеркалах, чтобы придать небольшой комнатке вид анфилады, комнаты в комнате, и дальше то же: комната в комнате, и дальше то же... Собаки залаяли, голодные, злые, одичавшие без приюта, неприкаянные, готовые разорвать любого, чтобы насытиться; они разбудили меня своим лаем и воем, и я сквозь сон, в полусне, в четвертьсне, не раскрывая глаз, почувствовал себя в лесу, овеванный снежно-хвойным ароматом. Что же мне снилось, что же?.. Мое горько-сладкое детство?.. Нет... Будто и не было, проплыло, проскакало, пробежало, исчезло... А ведь из него вышел я, сегодняшней. А моё ли было оно, это детство?.. Тот мальчик – совсем другой, ничего похожего на то, что через много лет из него получилось, может, он и не я вовсе, а только память сохраняет чужие сны?.. Нет, моя жизнь не умещается в моей голове, в моем сознании, слишком много в ней... снов. Теперь, оставив после себя зыбкую тень, предутренний сон, собрав все краски радуги, превращал их в серое, полное собачьего воя возвращение к

реальности. Тени снов моих...

Ночь. Поезд едет по заснеженной степи. Я иду по коридору вагона, заглядываю в купе – никого. Я перехожу из вагона в вагон, нигде ни души. В плацкартном вагоне, покинутом пассажирами, безлюдье еще страшнее. Темные, пустые вагоны мчащегося в ночи поезда, мчащего одного меня. В конце последнего вагона я открываю заднюю дверь и вижу: темнота пустой, заснеженной степи... Похолодев от страха, я смотрел, как ночь, словно огромная черная птица, раскинув крылья на полнеба, стремительно догоняет меня...

Этот сон послужил поводом для создания повести «Дом».

Когда я писал сценарий о душевнобольных в психиатрической лечебнице, я часто туда наведывался и перезнакомился со многими больными. Между ними были интересные личности, я не оговорился – именно личности, которые, к сожалению, редко встречаются вне стен сумасшедшего дома. Один из пациентов, мужчина лет сорока с лишним, любил стоять лицом в угол. Он мог так стоять часами, уткнувшись носом в угол палаты и о чем-то размышляя. Я поинтересовался, почему он постоянно стоит в углу, и он рассказал мне, как в детстве мать его наказывала и ставила в угол, когда он шалил.

– Но я всегда убегал, – говорил он. – Стоило маме заняться своими домашними делами, и я тихонько уходил, проскальзывал мимо неё на улицу. Потом она меня снова наказывала, и я снова, немного постояв в углу, убегал на улицу играть с ребятами. Потом мама умерла. Я очень горевал, плакал, ведь, кроме мамы, у меня никого не было. И как я жалел, что не слушал её, не стоял, как она велела, в углу, убегал... Она умерла, наверное, обиженная на меня, а, как вы думаете? Теперь приходится выполнять свой долг, а я считаю это своим долгом... Пусть она смотрит на меня с небес и видит, как я жалею, что не слушал её. Да, забыл сказать: мама была слепая.

Мне его история понравилась, я вставил её в сценарий, немного изменив, но в фильме не было возможности дать этому эпизодическому персонажу роль со словами, и он просто стоял лицом к стене, тоже, кстати, очень похожий на сумасшедшего. Потери в искусстве неизбежны, они преследуют человека, идут за ним следом, издеваясь, показывая ему язык. Однако, если хочешь стать писателем, в жизни все приходится, всякое общение, в том числе с душевнобольными.

Я много лет подряд носил с собой блокнот, но потом пришел к мысли, что самое ценное из ежедневных наблюдений не забывается; забывается не очень интересное, то, что не очень зацепило, не очень тронуло тебя, и если ты записываешь все подряд – и интересное, и не очень, – то все равно в работе используешь только самое-самое, которое не стирается из памяти. А в таком случае, зачем записывать? Это в точности, как работать по настроению и без настроения, принуждая себя: то, что создано в минуты озарения, перевесит по значимости целый месяц принудительного труда; а в таком случае, зачем трудиться целый месяц без вдохновения? Советы для лентяев. Не слушайте меня, трудитесь каждый день, все равно приобретете, не потеряете. Еще раз скажу, очень уж мне нравится эта мысль: если вам суждено делать ошибки, пусть они будут результатом действия, а не бездействия. Ведь, бездействуя, тоже можно совершать ошибки, да еще как можно! Скажем, следовало сделать что-то, вы упустили момент, проворонили; надо было совершить поступок, вы поленились, шаг упущен, момент пролетел, не вернешь, ошибка, ошибка...

Мама хранила мои детские вещи. До недавнего времени, до своей смерти она прятала в сумке своей молодости, допотопном огромном ридикюле (что с годами при-

нял облик сундучка, хранителя старины) мои ботинки, которые я носил в два года. Они смялись, черные лакированные ботинки, оттого, что постоянно лежали в тесной сумке, но как память вполне годились в любом виде. Она рассказывала мне, как в дождливый осенний вечер мы с ней возвращались от бабушки и недалеко от нашего дома увидели ослика зеленщика, запряженного в тележку. Ослик стоял понуро, послушно под дождем, вздрагивал ушами, поглядывал перед собой исподлобья печальным взглядом, изредка переступал, переставлял копыта, и пустая тележка, послушная его движениям, чуть продвигалась вперед или отъезжала обратно назад.

– Ты посмотрел на ослика под дождем, – говорила мама. – И знаешь, что сказал?

Я слышал это уже не в первый раз, но ей хотелось досказать, и я мотал головой – нет, мол, забыл.

– Ты сказал: ослику холодно, мама, давай отдадим ему мои ботиночки... Ты был добрый мальчик.

Я, выслушав, послушно кивал головой в двадцать лет, потом в тридцать, потом в пятьдесят... Потом мама умерла. А я все эти годы, пока она была жива, оставался для неё добрым мальчиком, и мне было абсолютно безразлично, что для кого-то я не такой, каким знала меня мама.

Страшные, а вернее, грустные, печальные сны, но страшные именно своей грустью и печалью, преследуют меня. Я часто бываю на тусовках (где как нельзя лучше можно наблюдать всякую породу людскую), и, естественно, то, что я вижу и наблюдаю, трансформируясь в причудливые, фантастические, непонятные формы, приходит в мои сны. Я послушно досматриваю их до конца – интересно, чем кончится. Много раз бывало, что во сне я отчетливо сознавал, что сплю на левом боку, на сердце, и потому мне снятся всякие кошмары, и стоит мне перевернуться на правый бок, и сон прекратится; но случаются кошмары и жуткие видения, которые хочется досмотреть до конца, будто болото тебя засасывает, а ты думаешь – стоит ли выбираться, ведь там, на дне, я еще не был, может, что-то интересное таится? И я намеренно не переворачиваюсь на правый бок, а покорно смотрю до финала нелепое собрание ужасов – мой сон. И вот, как результат моих посещений всяких сборищ и тусовок, снится мне, что я на каком-то веселом собрании, где все пришли поздравлять друг друга неизвестно с чем; и приходят высокопоставленные и не очень высокопоставленные чиновники, взгляды у них разные: у очень высокопоставленных взгляд поверх голов, напоминает взгляд глаз хорошо откормленных птиц, ничего не выражающий, но шмыгающий в поисках дополнительного корма, чего-нибудь такого, чем еще можно поживиться. Выглядев своего сытого собрата, они несколько оживляются – есть с кем пообщаться, – взгляд становится более мягким, человеколюбивым (читай – чиновниколюбивым), и они общаются, глядя по-прежнему поверх голов толпы. Не очень высокопоставленные тоже стараются смотреть поверх голов, взгляд у них более голодный и, наткнувшись на голову более высокопоставленного, становится слезливо-просительным: можно ли лизнуть зад или, по крайней мере, ручку поцеловать, спрашивают они взглядом. И вот в такой толпе рядом с высокопоставленными и не очень чиновниками я неожиданно замечаю своих товарищей, друзей-режиссеров, которые когда-то ставили фильмы по моим сценариям и по неизвестным мне причинам отошли от меня, отделились, забыли, хотя мы с ними хорошо поработали, и кое-что удалось создать. Один из таких режиссеров, кружась как бы в танце, мягко выйдя из толпы чиновников, чтобы ненароком не вышло бы вызывающе,

подошел ко мне.

– Скажи мне, в чем причина того, что мы отделились, не работаем вместе, как прежде? – спросил я его без лишних слов, прямо в лоб, как принято спрашивать во сне, но категорически не принято в реальной жизни.

– Дело в том, – стал отвечать он мне так же прямо, без лишних слов, как во сне, – что тебя не любят чиновники, а они дают заказы, они не советуют с тобой связываться, если я с тобой свяжусь, я тоже могу остаться без работы.

– Ясно, – сказал я. – Я тоже не страдаю от любви к ним. Но скажи мне: за что они меня не любят? Для меня это загадка. Даже если, с их точки зрения, я плохой человек, разве за это можно человека лишать работы? Они же должны смотреть не с точки зрения, какой человек – плохой или хороший, – а с точки зрения профессиональных качеств. Им ведь в первую очередь нужны хорошие профессионалы в своем деле, а не хорошие люди. Ты согласен?

Он подумал и ответил:

– Твои слова заставили меня задуматься. Ты заметил, как я напряженно думал? Но ответ прост.

– И какой же? – спросил я, стремясь доискаться причины.

– Им не нравится твой нос, – сказал он и тут же, отвернувшись от меня, пританцовывая, отошел и слился с толпой чиновников высшего звена, которые держались за руки, будто боясь потеряться или смешаться с чиновниками среднего звена.

Я вдруг с ужасом заметил, что все они смотрят на меня, и так как стоял я в профиль к ним, они уставились именно на мой нос, который я нахально выставил вперед и в таком положении застыл, не желая поворачиваться на правый бок.

Не считайте мои сны инвективой, я не хочу никого осмеивать, ни на кого нападать, уничтожать сатирой; я просто вижу сны. Сон он и есть сон, искаженная реальность, что от него можно требовать? А потребуешь, он скажет: как хочу, так и снюсь, не хочешь – спи без снов, как полено.

Как-то – мама еще была жива – я пришел навестить её, посидел немного, уже начиная нервничать, уже торопясь, уже предчувствуя, что что-то важное может произойти без меня там, где меня нет. Я собирался уходить, собирался подняться с кресла, когда она вошла в комнату, неся в руках большой старый альбом с фотографиями.

– Вот, посмотри, – сказала она, кладя альбом мне на колени, – здесь твои детские фотографии, школьные... Сколько лет прошло...

Я невольно стал рассеянно листать альбом, думая о своих текущих делах, куда надо пойти, что надо сделать в первую очередь из того, что намечено на сегодняшний день. Да, фотографии были забавные, и я давно не раскрывал этот альбом, постепенно я стал внимательнее разглядывать фотографии разных лет, семейные, с друзьями, с одноклассниками, однокурсниками, случайными знакомыми, бывшими друзьями... Мама на кухне готовила что-то вкусное (запах достигал комнаты, где я сидел с альбомом на коленях) на обед, но я не мог остаться и, глядя на фотографии, придумывал вескую причину, которую привел бы ей, чтобы уйти... когда... Я вздрогнул, глядя на очередную фотографию на странице альбома... Протер глаза, зажмурился и снова, уже внимательней посмотрел. На фото были мама и её двоюродные сестры, и мама... плакала. Я еще раз зажмурился и, открыв глаза, посмотрел: да, мама плакала, по лицу её, искривлённому плачем, текли слезы и были ясно видны на фото. Остальные женщины на фотографии стояли, невозмутимо глядя в объектив,

глядя на меня из расстояния в тридцать с лишним лет. Я был в шоке. Кто же станет фотографировать плачущую женщину? Может, со зрением у меня возникли проблемы? Я долго смотрел на фото, но ничего не менялось – мама плакала, лицо её было в слезах. Я, охваченный непонятным тревожным чувством, поднялся с альбомом в руках и пошел на кухню.

– Ма, – сказал я, – посмотри, какая фотография.

Она мельком взглянула и сказала:

– Да, это мы в Кисловодске фотографировались с твоими тетями, вместе поехали... Ты тогда был в Москве, не хотел приезжать на каникулы, остался там по делам, а мы все вместе поехали, несколько семей... Хорошая была поездка, в те годы многие ездили в Кисловодск...

Я снова посмотрел на фотографию, ничего не изменилось.

– Но ты... ты ничего не замечаешь странного? Посмотри хорошенько.

Она посмотрела еще раз, уже задержав взгляд на фото.

– Да, – сказала она. – Я одна надела белую кофту, все они почему-то в темном, я выделяюсь на фото, да?

– Да, – сказал я, пошел в комнату, закрыл альбом с по-прежнему плачущей на фотографии мамой и что-то наплел ей про дела, уходя.

На следующий день я выбрал время и вновь зашел к маме, снял с верхней полки шкафа альбом с фотографиями и под одобрителем взглядом мамы раскрыл его, чтобы еще раз взглянуть на фотографию и убедиться, что я не сошел с ума. Но оптический фокус – или психологический, как угодно, – с плачущей мамой на фотографии уже не повторился и не повторялся никогда больше, мама на фотографии стояла с таким же невозмутимо-спокойным лицом, как все остальные, кто, невзирая на беспомощные призывы фотографа, не желал улыбнуться, чтобы остаться в памяти потомков серьезными, прошедшими нелегкую жизнь людьми.

Через две недели мама тяжело заболела и уже не вставала с постели.

А фокус с моими глазами или с головой послужил толчком к написанию рассказа «Мальчишник».

Как-то меня пригласили провести презентацию моих книг в еврейском обществе, я не возражал, согласовали время, собрались все умные люди нашего города и начали задавать мне вопросы.

– Вы профузно используете оксимороны, что делает вас как писателя парадоксальным, – сказал один журналист. – Хотелось бы знать, какие скрытые рычаги поведенческой психологии вы используете в творчестве.

– Я понял только слово «рычаги», – сказал я, что вызвало смех в зале. – Но давайте отойдем от медицинских терминов, не свойственных литературе, и вспомним, что великий Лев Толстой использовал стилистический оксиморон даже в качестве названия романа «Живой труп», и ничего парадоксального мы теперь в этом не видим. Главное в творчестве, я считаю, не щеголять парадоксальностью, а стараться внедрять эту парадоксальность, оригинальность, неповторимость через свои творения в нашу жизнь, в быт, чтобы со временем как можно больше оригинально мыслящих людей окружало нас. Это сделает жизнь каждого из нас более интересной, нескучной, не обыденной. И каким бы парадоксально мыслящим ни был писатель, он непременно должен писать в доступной для масс форме. Я никогда не старался писать сложно, изощренно, с применением редко встречаемых в обиходе слов, чтобы показаться энциклопедически образованным, произвести впечатление на читателя;

потому что я знаю – не это главное, а главное: потрясти душу читателя, если сил хватит... А для души достаточно простых слов.

Приснилась мне далекая девушка-модель, с которой много лет назад познакомили меня мои московские друзья, и с которой я пытался вести интеллектуальные беседы о том, о сем. Будто мы сидим в какой-то полутемной комнате, и я держу её руку в своей, а она, сука, такая красивая, такая девятнадцатилетняя, такое милое личико, такие длинные ноги... Снится всякая чертовщина, тьфу!

И вот я ей говорю:

– А вы, может, читали мои книги? Они у вас в городе тоже выходили.

И тут она вырывает свою руку из моей, которая до той минуты вполне лояльно покоилась и обнадеживала тем, что покоилась. Глаза её, и без того огромные, нарисованные, становятся еще огромнее, вылезают из орбит, она вся дрожит от негодования.

– Да как вы смеете?! – кричит она, задыхаясь от возмущения.

В тот же миг в комнате возникают за её спиной две внушительные фигуры телохранителей и стоят, угодливо полусогнувшись к ней в ожидании приказа.

– Как вы смеете задавать мне такие неприличные вопросы!? Я порядочная девушка, женщина, дама! Никаких ваших книг я не читала и читать не собираюсь! И вообще никаких! Что я вам, какая-нибудь дешевка?! Вот еще новости! Убирайтесь вон отсюда! Я-то думала, что вы приличный, культурный человек, а вы вон что... писатель! Вышвырните его!

И только телохранители (ей-богу, в данном случае им было, что хранить!) подскочили ко мне, чтобы исполнить приказание хозяйки, как я вовремя проснулся. Вот каждый раз такое со мной: просыпаюсь в неведении. А куда бы меня вышвырнули? Пространство, надо сказать, было очень уж неконкретным, неузнаваемым, каким-то не очень реальным: вода подступала к ногам, тихо плескалась в комнате, из плинтусов паркета доносились стоны наслаждения, подзадоривая, возбуждая, щекоча нервы, чей-то нос медленно выдвигался из стены напротив...

Многие читатели меня укоряют, что в моих книгах редко встречается внешнее описание персонажей. Да, это верно. И происходит это потому, что меня больше интересует их внутренний мир, который я и стараюсь передавать, а как они выглядят, я оставляю домысливать читателю: если образ вам нравится, вы можете представить свою покойную бабушку, если персонаж вам не по душе, перед глазами у вас появится конкретный человек, которого вы не перевариваете; ведь многие черты у людей общие, схожие, несмотря на всю человеческую индивидуальность.

Но все же я считаю претензии таких читателей, которым необходимо портретное описание героев, не совсем беспочвенными и необоснованными. И потому сейчас я нарисую вам несколько портретов, а вы уже сами разбросайте их по роману, вставьте, куда вам хочется.

Вот, кстати, подвернулся сон, начнем, пожалуй, с описания топ-модели, которая мне недавно приснилась. Это – очаровательная девушка с добрым, округлым лицом, с очень мягким выражением (видимо, детство её было вполне безоблачным, и она не знала отказа своим желаниям, окруженная любовью и заботой близких), у неё большие глаза, которые ей профессионально увеличивают, чтобы эти прекрасные глаза были видны зрителям из задних рядов; длинные русые волосы собраны в одну толстую, красивую и, разумеется, модную в настоящее время косу, которую манит потрогать, прямой маленький носик, подбородок, немного выдвинутый впе-

ред, что говорит о её твердом характере, но абсолютно не портит нежную женственность её лица; небольшие красивые уши, что, как утверждают специалисты-физиономисты, говорит о бесталанности носителя; чистый, белый, невысокий лоб, что ни о чем не говорит, красивые ухоженные руки, большие ступни, очень жаль (за что я люблю японок, они никогда не позволяют себе такого), длинные ноги, но в меру длинные, не от ушей, а оттуда, откуда им полагается расти; вот, пожалуй, и портретное описание... Да! Еще небольшая родинка пониже пупка. И зачем она мне приснилась такая сердитая, не пойму... Девушка как девушка, без особых претензий, с чувством юмора, если анекдот не слишком мудреный.

Портрет второй. Мальчик с длинными кудрями почти до плеч, вызывающий улыбки у прохожих. У него яркие, большой интенсивности глаза, но робкий, испуганный взгляд, он старается не смотреть в глаза взрослому, задающему ему обычные вопросы: «Сколько? Кем? Кого больше?» – будто ему стыдно повторять одни и те же ответы. Ноги кривые, руки постоянно испачканы; он не лежит, если можно сидеть, он не сидит, если можно стоять, он не идет, если можно бежать, он не говорит, если можно орать. Вот такой мальчик. Одевается он, как придется, и только после пятнадцати становится пижонем и хочет одеваться модно, стильно, ярко-индивидуально.

Еще один портрет – портрет женщины, которую я очень любил, моей мамы. Этот портрет я напишу со всей искренней любовью, которая все еще сохранилась в моем сердце, несмотря ни на что. На что именно? Ну, например, несмотря на то, что окруженный всякими подонками, я год от года все больше терял эту любовь, терял веру в людей, в дружбу, в себя. Однако вот еще непостижимое свойство души: чем больше терял, тем больше оставалось.

Если б я был художником или, еще лучше, скульптором (кем и мог бы стать, с детства серьезно увлекаясь лепкой), я бы изваял её вот так: мама сидит на стуле, поджав ноги под себя, словно не желая мешать проходящему мимо, сидит, склонив голову, смотрит несколько виноватым взглядом, рот полуоткрыт, будто она хочет предупредить меня об опасности. Она старалась никогда никому не мешать, не беспокоить окружающих, не досаждала им, а это первое и главное свойство интеллигента.

Ну, пока хватит, позже, может, еще кого-нибудь представлю, если появится желание показать вам визуальный портрет.

Мне было примерно лет пять или шесть, помню, еще не ходил в школу. На нашей улице, в соседнем доме жил мальчик, он уже был школьником и пел в хоре при Доме пионеров, куда я некоторое время ходил заниматься лепкой в безуспешной попытке в дальнейшем стать скульптором. Это был тихий, всегда, в отличие от большинства мальчишек, аккуратно одетый, гладко причесанный мальчик лет восьми. Он хорошо учился в школе и хорошо пел в хоре, одним словом – это был примерный мальчик, и потому многие на улице и в школе над ним насмехались и считали маменькиным сынком, хотя все дети в его возрасте так или иначе были маменькиными сынками, если у них была мама. Я даже помню, как его звали: Эльмар. Его мама, когда он долго задерживался на улице, протяжно, заунывно, будто подражая вою волчицы, звала его домой:

– Эльма-а-а-ар!

И он с первого же воя отправлялся домой, оставляя любую затеянную нами интересную игру неоконченной; и за такое непонятное нам равнодушие к совместным играм заслужил нелюбовь многих соседских мальчишек. Нас обычно звали по пол-

часа, выкрикивая наши имена десятки раз, и каждый раз получая невразумительный ответ:

– Иду-у-у!

Или же:

– Еще пять минут!

И жил на нашей улице подросток лет тринадцати-четырнадцати. Его имя я тоже помню – Алибала, но все звали его так же, как его родители, ласково: Алишка; хотя никакой ласки и даже хорошего отношения он не заслуживал, это был законченный садист и мерзавец. Он ловил и мучил кошек на улице, избивал младших ребят, которые не могли постоять за себя, и вел себя постоянно, как последний негодяй. Когда он выходил на улицу, толстый, краснощекий, злой, полный отрицательных эмоций и чрезмерной энергии, жуя булку или бутерброд, многие из нас, мальчиков, старались держаться от него подальше. Но такие старания никогда не увенчивались успехом: закончив жевать, настигал и мучил. Отношение его ко мне ограничивалось только щелчками по лбу, однако щелкал чувствительно больно; он и в самом деле был прирожденным садистом – умел находить и бить по самым болезненным местам, скручивал руки, ударял ногой по костяшкам стоп, душил – намертво, как удав, обхватив шею жертвы и грязно ругаясь.

– Мама есть? – ласково спрашивал он у полузадушенного мальчика. – Ответь, сука!

– Е-е... – хрипела жертва.

– Я твою маму!.. – так же ласково продолжал Алишка. – А сестра есть?

– Е-е...

– Я твою сестру!.. – и, отпустив, наконец, измученного мальчика, закатывался диким хохотом.

Мне дома запрещали играть на улице с Алишкой, а однажды я случайно подслушал, как отец рассказывал маме тихо, почти шепотом, что Алишкин отец работал надзирателем в сталинских лагерях.

И вот как-то мы узнали, что наш кроткий товарищ по незаконченным играм Эльмар будет вместе со своим хором выступать по радио. Тогда телевидение пока еще не начало свою основную работу по зомбированию особой человеческой касты – телезрителей, и вся нагрузка падала на радио, которое, естественно, и было очень популярным и кричало и пело из окон почти каждого дома нашего города.

Оставалось несколько дней до выступления Эльмара вместе с детским хором по радио, все очень им гордились, мы восторженно, завистливо рассматривали его галстук-бабочку, который он должен был надеть в день выступления, хотя никто, кроме дирижера, самих маленьких хористов да еще работников радио, не узрел бы элегантно одетых детей, но все равно было приятно, и даже тем из нас, кто не очень любил Эльмара. Мы втайне удивлялись такому долгому отсутствию реакции на предстоящее событие со стороны нашего известного садиста, но накануне выступления Эльмара он все-таки придумал новую каверзу.

– Вот что, – душевно начал он, обняв за шею хориста (объятие, вроде бы, дружеское, но грозившее в любую минуту перейти в свою противоположность, в зависимости от поведения обнимаемого) и отведя его в сторону, подальше от нас, чтобы мы не слышали, будто мы не узнали бы обо всем от самого Эльмара. – Ты будешь завтра выступать по радио. Ответь!

– Да, – выдал из себя Эльмар.

– Когда я спрашиваю, отвечай быстро, не то убью! – нетерпеливо выпалил Алишка, предупредительно сжав сгибом руки шею допрашиваемого. – Когда ты там будешь петь в своем сраном хоре, ты должен произнести мое имя. Понял? И погромче. Чтобы все слышали. Скажешь: Алишка! Алишка! Несколько раз скажешь, понял?

– Но я же... – начал было робко возражать Эльмар, но тут же был бесцеремонно перебит.

– Ничего не знаю! Заткнись! Не скажешь – лучше тебе не выходить на улицу – изуродую! Понял?

Назавтра бедный наш певец, вместо того, чтобы идти на первое свое публичное выступление, как на праздник, бедный наш соловей-соловушка шел, как на казнь, мучительно раздумывая, как бы не вылететь из хора, в котором он уже больше года пел, и в то же время остаться в живых после выступления. Он никому не рассказывал о своих мучениях и сомнениях, но вид у него был убитый, так что дома даже заподозрили – не заболел ли он в самый торжественный день своей молодой жизни. Мы только позже, после выступления хора по радио, узнали о том, что и как случилось, и что велел ему делать Алишка.

И вот все мальчики поют в хоре, как нормальные хористы, а наш Эльмар то и дело вставляет в слова песни ненавистное, презираемое, мерзкое слово:

– Алишка! Алишка!

Но тонкий слух дирижера и руководителя хора, конечно, уловил неполадки в хорошо отлаженном механизме команды юных певцов, и после выступления, вспомнив все соответствующие пословицы и поговорки, и главную – что семья не без урода, дирижер обрушил их на голову незадачливого Эльмара, который никак не мог оправдаться, справедливо полагая, что если он расскажет все, как есть, его поднимут на смех товарищи по хору; но все же был один положительный момент – он не вылетел из хора, видно, руководитель посчитал выходку всегда примерного хориста временным помрачением рассудка.

А на улице Эльмара ждала новая, уже не словесная, экзекуция.

– Я ничего не слышал, – ласково говорил Алишка, подступаясь к нему все ближе, чтобы скрутить жертву в своих питоновых объятиях.

– Я говорил! – оправдывался Эльмар, отступая. – Говорил! Мне наш дирижер еще за это шею намылил.

– Теперь я тебе шею намылю!

– Я не виноват, что ты глухой. Я говорил!

Отделался Эльмар легким испугом: Алишка, дожевывая бутерброд, посыпанный сахарным песком, урча и чавкая, довольствовался на сей раз небольшим тычком в грудь жертвы.

Впоследствии, когда прошло несколько лет, и я научился драться на улице, мне всегда хотелось отлупить Алишку, я ненавидел его, как только можно было ненавидеть своего лютого врага, хотя лично мне он, можно сказать, особых гадостей не делал, но избить его, избить до крови было моей детской мечтой; однако, к сожалению, каждая моя попытка заканчивалась именно избиванием меня самого.

Но что же означает, что, вспоминая, я скучаю даже по этому мерзавцу Алишке, по своему однокласснику-стукачу, слащавому проходимцу, по соседскому мальчику, разбившему мою любимую работу, чья мачеха избивала меня? Может, они, несмотря ни на что, были гораздо благороднее подонков, встречавшихся мне в жизни после них

и действовавших скрытно, подло, шагавших по головам, исподтишка делавших гадости, прячась за чужими спинами? А может, они, вышедшие из моего детства, выросли в таких же профессиональных негодяев и бродят где-то недалеко от меня, и я просто не могу распознать их за густым туманом давности?

Любовь и смерть – вот главные два кита, на которых зиждется мироздание литературы и любого другого вида искусства. Смерть, как квинтэссенция необъяснимого, и любовь, как дорога, ведущая к ней. Дорога, ведущая к смерти, устлана любовью. Зная, что смерть неизбежна, человек не может не любить, он должен любить эту жизнь, должен любить все, что окружает его, это единственное его спасение, и тогда он идет по этой дороге к конечной цели с легким сердцем – он выполнил свое предназначение на земле, он любил.

Когда я учился в шестом классе, к нам из другой школы перевели девочку. Её семья поселилась в доме напротив квартиры, где жил мой друг и одноклассник Миша Коган, и окна квартиры новой девочки находились прямо напротив балкона Мишиной квартиры, которую, кстати, и квартирой трудно было назвать: единственная длинная, вытянутая, как пенал, комната. Девочка стала учиться с нами, была она на год старше нас. Она плохо училась, не успевала, и, как оказалось, по всем предметам сразу. К четырнадцати годам она обладала не по возрасту развитыми формами, заторможенными мозгами, кривыми ногами и прекрасным, будто из мрамора выточенным лицом с огромными синими глазами. Звали её Рена. Она имела привычку, возвратившись из школы домой, переодеваться у окна. Мы с моим товарищем, с которым часто ходили в гости друг к другу, заметили и одобрили про себя такую её привычку. После школы мы прибегали к Мише и, пользуясь отсутствием его родителей, спрятавшись за половинками занавески с двух сторон перед балконной дверью, сгорая от нетерпения, ждали, когда Рена начнет переодеваться. Мы, затаив дыхание, с открытыми ртами, с бешено колотящимися сердцами следили за каждым её движением, когда она раздевалась. Кажется, в эти часы в доме у них тоже никого не было, кроме нашей одноклассницы. Рена медленно поворачивалась к нам спиной, снимая лифчик и показывая – к нашей великой досаде – голую спину, мало чем отличавшуюся от мальчишеской. Но мы и этому бывали рады, и каждый раз, бегом направляясь после уроков домой, молили Бога, чтобы родителей Миши не оказалось дома и никто бы нам не мешал смотреть, спрятавшись за занавеской, как раздевается красавица Рена, в которую уже были влюблены почти все мальчики в нашей школе, даже несмотря на её кривые ноги.

Разумеется, вскоре она стала приходиться в мои сны, и теперь ей я уступал половину своей подушки и представлял её рядом с собой в постели. Такие сны оставляли по себе после пробуждения тягостное, тоскливое чувство, и я постепенно в очередной раз влюблялся в ту Рену, которую сам домысливал и создавал, влюблялся в свою мечту. Но так ни разу и не посмел с ней заговорить; только бежал с моим другом, сломя голову, к его дому (порой обгоняя её по дороге, и она знала, зачем мы бежим, и ухмылялась вслед нам), страстно желая, чтобы на этот раз, раздеваясь, она бы повернулась ко мне лицом...

И теперь, если б мог, я бы запретил моему другу смотреть на голую спину Рены, которой должен был любоваться только я, только я! Но, к сожалению, я был у него в гостях, а не он у меня.

Мы знали, что она знает, что мы смотрим, и она знала, что мы знаем, что она знает, что мы смотрим.

Лет двадцать пять назад (такие ретроспективы вынуждают меня ставить даты под произведениями, чего я не люблю, да ладно...) в моей стране и в моей профессии многое изменилось: страна моя вышла из уродливого общественно-политического строя, в котором находилась долгие десятилетия – срок, несущественный для истории, но вполне существенный для человеческой жизни и даже не одного поколения, – стала независимым, демократическим государством и начала шагать в ногу со всем миром (но как все младенцы, сначала ползала, потом медленно встала на ноги, научилась ходить, потом вполне уверенно, торопливо, чтобы наверстать упущенное, зашагала в свое будущее), явление это вполне положительное, и его можно только приветствовать; в моей профессии тоже многое изменилось, но, пожалуй, в худшую сторону – писатели перестали быть востребованными, книги перестали читать, а на литературные заработки теперь нельзя было накормить и кошку. Но и в плохом есть одно хорошее свойство: рано или поздно оно тоже кончается. Как и хорошее, впрочем. Однако теперь, как весь мир, так и мы: покупается твоя книга, твой труд – ты живешь нормально, не раскупаются твои тиражи – дело дрянь. Постепенно писатели привыкли к такому положению вещей, отошли от своего советского мировоззрения, когда труд литератора (читай: идеологического работника) расценивался властью предрержащими как пропаганда существующего тоталитарного режима. Но поначалу было страшновато – как это так? Зарабатывали, получали хорошие гонорары, и вдруг все это псу под хвост? Вот в начале этого процесса многие писатели в моей стране переживали чувство растерянности, уныния, депрессии, и я, конечно, в том числе: все-таки получать гонорары было гораздо приятнее, чем не получать. В то время я мрачно шутил, что если б можно было наладить непосредственный контакт с Богом, я бы попросил у него другую, хотя бы немного более прибыльную профессию. Жрать нечего, Господи, сказал бы я, все, что Ты посылаешь мне в советское время, я безалаберно растранижил, разбросал, расшвырял на друзей и проституток и теперь сосу палец. Эта горькая шутка прозвучала достаточно звонко и запоминающе, и я её повторял, где придется, пока не приснился мне Господь. Но был он совсем не похож в моем – да и в любом – представлении на Бога. Какая-то девчонка в ситцевом платице, лет двадцати, не больше, на студентку похожа.

– Звал? – коротко, по-деловому спросила она.

Я опешил.

– А ты ... правда Он? – осторожно спросил я, потому что чувствовал – никакого обмана быть не может, Он слишком велик и грозен для дешевенького обмана, она и есть Он, но почему в таком обличье?

– А тебе какое дело? – прочитав мои мысли, сердито накинута на меня она. Он. – Говори, что нужно? Хотя, что я спрашиваю? Знаю, знаю... Ну, и кем же хочешь стать? Банкиром, свадебным певцом, продавцом антиквариата, хакером, киллером, представителем «Кока-колы»?..

– А можно?..

– Не задавай глупых вопросов, я же здесь.

– А, ну да, верно...

– Только должен тебя предупредить: я воздам, но и отниму у тебя все, что воздал до сих пор – твою профессию, твоё вдохновение, твою фантазию, твои видения, твои ночные бдения за работой с бьющимся от счастья сердцем... Понял? Все, чему до этой минуты ты посвятил свою сознательную жизнь, я отниму в обмен на новую профессию. Прибыльную, востребованную, престижную... Ну, как?

Его слова заставили меня задуматься: я ведь был уверен: раз Он явился, значит, сделает подарок, а Он вон как...

– Не думай глупости, я что тебе, Дед Мороз? Отвечай быстрее. Вас, молящих о милости, много, я – один. Время – деньги, о которых ты мечтаешь. Живо! – Он был очень сердит за то, что я трачу Его время (не понял, Он же Царь времен, отчего же такая скупость?), но в облике молодой девушки мной абсолютно не воспринимался как Бог, может, он специально так?

– Я тебе покажу скупость! Быстрее отвечай!

– А можно, я подумаю до завтра, – робко попросил я.

– Нет, – отрезал Он, и вдруг она обаятельно улыбнулась. – Ты уже подумал. Оставайся, как есть. Научись жить.

– Поздно, – только и успел произнести я, как девушка исчезла, растворилась в моем сне, улетучилась. А я, как колода, продолжал спать глубоким сном, что нечасто со мной бывало.

Любовь – как книга, которую пишешь: обе начинаются робко, еще не знаешь, куда поведут, состоятся ли, подступаешь к ним, трепеща, полный надежд и сомнений, полный опасений и сжимающего сердце страха; но вот первые робкие шаги сделаны, невнятный еще, неяркий, но обещающий разгореться свет замелькал вдали, идешь к нему, и вдруг с бьющимся сердцем, не веря душе своей, понимаешь, что и они идут тебе навстречу, что твои усилия не напрасны, что она, любовь, и она, книга, медленно, целомудренно раскрываются перед тобой и ждут твоих дальнейших, уже не робких, уже обнадеженных шагов, ждут решительности, инициативы и смелости (потому что и в любви, и в писательстве смелость необходима), и ты, ободренный, окрыленный, уже стремишься, бежишь, летишь навстречу и погружаешься в них всеми своими помыслами, всем существом своим, и это становится главным событием в твоей жизни; но вот проходит время, кончается книга (ты отдался ей полностью и доволен результатом, или недоволен, неважно, гораздо важнее путь, ведущий к результату, он и есть цель), кончается любовь (ты отдался ей полностью, однако недоволен собой, постепенно превратив праздник в привычку, в быт, в будни, но ничего не поделаешь – все когда-нибудь кончается), и ощущаешь пустоту, которую в твоей жизни временно и так счастливо заполняли они: любовь и книга, и ищешь новой любви и новой книги, чтобы снова пройти уже много раз пройденный путь, чтобы снова быть счастливым и заполнить жизнь свою вздрагивающим от уколов радости сердцем, одним большим, огромным сердцем, чувствуя его каждую минуту, каждый миг, что в кардиологии называется «ощущением органа», а в профессии писателя – ощущением жизни.

Одежда на глазах уменьшалась в размерах, мебель и комната становились все меньше, улица теряла свою ранее внушительную протяженность, город, будто съездившись, становился меньше.

Я рос...

И однажды уехал в большой, огромный город, мегаполис, но не выдержал там долго и вскоре вернулся в свой, где прошло моё детство; вернулся на улицу, казавшуюся теперь игрушечной, вернулся в крохотную свою комнату, открыл мамин ридикюль и извлек из него лакированные детские ботиночки.

ЛЕЙЛА АГАЕВА

оттепель

Отпивали оттепель глотками – до полбокала
Отпрашивались у отцов до «без пятнадцати полвторого»
Отстаивали свою правду и право
Отпускали на ветер и не искали другого
Обтягивали свои силуэты чужими телами
Обдумывали на вечность вперед – до половины лета
Обещали обыкновенными быть, давали обеты...
Обернулись – а было ли это?..

современность: голод да глянec

Оглянись – вокруг голод да глянec,
глухие горланят вовсю.
Глубокие вырезы –
сверху и снизу,
гламурный старец подкатывает к
голым плечам гладкой девицы.
Голословность приветствуется:
люди обглаживают сплетни, обсасывают
гложащие их проблемы,
глядят под ноги.
Головорезы врываются в простые дома.
Голубизна неба мало кого волнует.
Отголоски совести стонут в
глиняных горшках с деньгами.
Головой в основном кивают,
глазами моргают,
голосом – молчат.

макулатура

Мы так много думаем и говорим,
что из нас вышла бы прекрасная макулатура –
мы могли бы сплотиться обрывками книг и газет,
налепиться на спинку стула,
на ободок унитаза, на дверь в клозет...
и никому не пришла бы в голову лучшая режиссура –
это хит на десять десятков лет.
Представить себе – этикие статуи из папье-маше,
нечто вроде призмы или кашé,¹
оставляющее только часть изображения
в желательном.

¹Непрозрачная или полупрозрачная заслонка в виде какой-либо геометрической фигуры, применяемая для спецэффектов в фотографии и кинематографе.

подол платья и сплетение пальцев

...и тогда я узнаю тебя сквозь отсутствие веры и чреватость выбора,
за много стран впереди мелькающего концом плаща.
Ты будешь долго смеяться в мои хрупкие и бессмысленные «прощай» –
и ты будешь меня прощать.

...и тогда я паду на колени твои, как платья подол – на пол,
и водой из чаши пальцев твоих сплетенных утолюсь.
Замечательно то, что своими словами
ты не сажаешь мое сердце на кол,
и то, что я не боюсь.

город из светофоров

Мы любили уходить от темы – в море, сквозь волны тины,
баламутством своим едины, отмывали водой проблемы,
обтирались песком и солью, покрывались загарной смолью.
Не в нарывах и не в надрывах, постоянны в своих порывах,
говорили о том, что близко, игнорируя тяжесть списков,
напечатанных машинистками.

Белопенные волн раскаты... Закрывали рукой закаты,
запрокидываясь назад,
зарывались в пески-подушки, заколачивались заглушки,
защищавшие нас от...

Мы любили уходить от моря в город из светофоров,
по дороге о чем-то споря, заглушая рев (вой) моторов.
остывали в кондиционерах, возвращались друг к другу в сферах-
оболочках из двух сорочек, сарафана и пары брюк,
наблюдали вечера трюки, неизбежно ведущие к ночи.

Мы любили, в толпе теряясь, оставаться собой и с собой,
разделяться не разделяясь, разбежаться по знаку «стой!»,
раскрываться случайным встречным, разговаривая о вечном,
о конечном, о поперечном, о человеческом и о себе.

Мы любили сливаться с полом, отражаясь на потолке,
и слезой одного укола, и зрачками в одном белке,
и единой соленой мыслью, и единым укусом губ,
и язвительным этим: «в смысле?..»,
и ответным: «ты страшно глуп».

Мы лавины летальных страхов разделили напололам,
через крахи, до новых взмахов мы карабкались по стволам,
мы поляной друг другу были, и опорой, и кораблем,
мы любили, и мы любили...
вдвоем.

ГЮЛЮШ АГАМАМЕДОВА

Запретный плод

Новелла

Температура приблизилась к сорока градусам. В легкие одежды оделось большинство. А недавно прошедшие европейские игры привнесли свою мажорную ноту в одеяния горожан. И все же... Те, кто стоял на автобусной остановке, синхронно, словно гимнастки в групповых упражнениях, повернули головы в сторону девушки, выплывшей из подземного перехода. Столь пристальное внимание объяснялось обликом незнакомки. Кокетливая джинсовая юбочка, которой позавидовала бы самая продвинутая теннисистка, и прозрачный топик, чудом державшийся на одном плече. Самым крупным по размеру элементом в наряде девушки оказались серьги, каскадом спускавшиеся до плеч. Ее не смущало пристальное внимание окружающих. Ей оно нравилось. Девушка прошлась несколько раз, словно по подиуму, перед невольными зрителями, ожидающими автобуса. Показался переполненный автобус, и девушка впорхнула в него легко, как райская птичка. Жара, духота и теснота не способствуют доброжелательному отношению к ближнему своему. И на этот раз на замечание девушки одному из парней тот мгновенно ответил:

– Похудеть не мешает, тогда легче в автобусе ездить.

Она вспыхнула, ничего не ответила и вышла на следующей остановке, хотя не доехала до пункта назначения. Айлин, так зовут девушку, спешила на танцы. Нет, худеть ей совсем не обязательно. Стройная, высокая, смелая, похожая на модель Айлин не страдала от комплекса неполноценности. Скорее наоборот. Ей все время хотелось эпатировать окружающих. Надо заметить, что ей это удавалось. Танцами она занималась, чтобы быть в тонусе, чувствовать, как мышцы приятно ноют после суровой разминки. Да еще двигаться в такт музыке, телом выражая все те эмоции, что сложно иногда выразить словами. На тренировку пришли две женщины: Айлин и еще одна дама среднего возраста. Вероятно и ей, также, как и Айлин, хотелось насладиться гармонией музыки и движения. Зеркала в зале отражали двух женщин, с которых градом тек пот. После тренировки обе, усталые и счастливые, разговорились в раздевалке. Айлин давно хотелось задать женщине тот самый сакраментальный вопрос о возрасте. Женщине вопрос не понравился. Она пыталась перевести разговор на другую тему, но не получилось. Айлин стояла на своем:

– Сколько вам лет?

– Много, намного больше, чем вам, милая девушка.

Айлин настаивала. И даме пришлось озвучить свой и в самом деле солидный возраст. По выражению лица дамы было очевидно, что она сама пугается этой цифры. Айлин успокоилась и разговорилась.

– Знаете, почему я об этом спрашиваю? Потому что у нас не принято взрослым людям заниматься такими приятными вещами, как танцы, дискотеки, клубы, походы. Ну, разве что рестораны для них. Опять еда, еда... А в основном, свадьбы и похороны. Вот вы ходите на свадьбы и похороны?

Женщина задумалась, вспоминая, когда она последний раз была на свадьбе или похоронах. Не вспомнила. Так и сказала:

– Нет, не помню. Наши свадьбы – тяжелое испытание для кармана, желудка и ушей. Ну, а похороны....

– И как вам удается, живя в Баку, оставаться в стороне от основных событий?

– Удастся, потому что я не оглядываюсь на окружающих. Живу так, как мне хочется. Признаюсь, сложно. Но если захотеть, то может получиться.

Айлин сделала паузу. И вдруг, сама того не желая, рассказала почти незнакомой женщине о том, где и как ей хотелось бы жить. Год назад она поехала с друзьями в Европу. Гуляла по разным городам. Весело, интересно. Компания подобралась, что надо. Три девушки и два парня. Современные, позитивные, молодые, без комплексов.

– Мне больше всего понравился город Брюгге в Бельгии. Вот бы где я жила всю жизнь. Такая прелесть. Средневековый город. Как сказка. Каналы, соборы, люди такие степенные. – Айлин мечтательно вздохнула.

– Брюгге? Как странно. Мне казалось, что такой спокойный городишко, как Брюгге, не может быть привлекательным для молодых и ярких особ, вроде вас. Удивительно, что вы вспомнили о Брюгге.

– А что в этом удивительного? – Айлин с вызовом посмотрела на даму.

– Вчера я посмотрела фильм, и сегодня еще думала о фильме и городе Брюгге. Фильм называется «Залечь на дно в Брюгге». Там играет Колин Фаррелл и с ним в паре Брендан Глисон. Но самое интересное, что в этом фильме городу Брюгге отведена одна из ролей, и я бы сказала, одна из главных ролей.

– Вам не понравился город?

Дама попыталась объяснить Айлин, что город, любой, может стать для тебя праздником, сказкой, как это случилось с Айлин в Брюгге. А может превратиться в место ожидания заказа на убийство. Как в случае с двумя незадачливыми наемными киллерами из фильма. И еще дама упомянула о Иерониме Босхе. В фильме, очень кстати, с учетом профессии героев, показаны его картины. Его видение ада и то, каким образом пытаются грешников в аду. Фантазия у художника изощренная. Глядя на страшные мучения грешников, не покидает мысль о том, что вдохновлялся Босх прежде всего жизнью маленького средневекового города. Орудия пыток сходны с инструментами ремесленников.

– Как вы сказали? Босх? Нет, не знаю такого. Не люблю слишком мрачные картины. Люблю свободу. Вот где свобода, так это в Голландии. Что хотите можно там увидеть. Мы с друзьями пошли в музей эротики. Секса, короче. Да, там есть такой музей. Не верите? Вы были в Голландии?

– Нет, в Голландии не была.

– Я бы вам посоветовала поехать в этот город и сходить в музей секса. Мы из этого музея сувениры привезли. На долларовой купюре изображение фаллоса. Верите, ни одного сувенира не осталось. Все разобрали.

– Милая Айлин, вы полагаете, я открою для себя что-то новое в этом музее? – дама иронизировала и внезапно запнулась. – Да...между прочим...Иероним Босх родом из Нидерландов, то есть, из Голландии.

– Ну и что?! Можно было что-нибудь и повеселее нарисовать.

– Есть у него триптих, называется «Сад земных наслаждений», – дама искоса посмотрела на Айлин.

– Наверное, похоже на музей эротики?

– Мне тоже так кажется. А Босха посмотрите. Любопытно.

– Знаете, что забавно, местных жителей совсем не интересуют наркотики, или музей эротики. Только туристы этим интересуются.

Дама задумалась. В самом деле, если что-либо становится рутинной, то к этому явлению, как правило, теряешь интерес. «Запретный плод сладок», сказала Айлин. А женщине тут же захотелось спросить, какой же плод сладок для нее, для Айлин. Мо-

лодой, симпатичной, эксцентричной особе. Вот для нее, зрелой женщины, таким «запретным плодом» в какой-то момент стали танцы. Когда она в немолодом возрасте решила пойти заниматься в клуб. В тот же клуб, куда ходил ее сын. Пришлось пережить самый настоящий бунт взрослого сына. «Ни одна из мам моих друзей на танцы не ходит», – заявил он категорично. «Если ты собираешься это делать, да еще и в том же клубе, что и я, то запомни, я буду делать вид, что с тобой не знаком». Несмотря на серьезную угрозу, она все же настояла на своем. Проходила мимо него с равнодушным лицом. Здоровалась кивком головы, как с остальными членами клуба. Однажды они чуть не «спалились», как выразился сын. Тренер поставил их в пару. Ее и сына. Танцевали самбу. Начали бодро. А потом... Она ошиблась в повороте и вдруг услышала возглас: «Мама, здесь поворот в другую сторону». Женщина застыла на месте, нужно было выходить из положения. Она улыбнулась: «Мама?! Я похожа на вашу маму?» Вот такая смешная и грустная история. Дама не стала рассказывать Айлин ничего о своем опыте.

В той трагикомической ситуации ей очень хотелось сорвать «запретный плод»: встать посреди бальной залы и заявить всем присутствующим громко, с высоко поднятой головой, что молодой эlegantный человек, танцующий с ней в паре – ее сын. Безумно хотелось сделать это. Не сделала. Конечно, бывают и другие «запретные плоды», не такие невинные...

Айлин усердно занималась. Ей хотелось блистать на соревнованиях, чтобы все видели, какая она пластичная, красивая, милая. К занятиям подходила серьезно. Переспрашивала у тренера по несколько раз, если не получалось. Однажды тренер не вынес напора и вылил свое раздражение на чересчур усердную ученицу. По его словам выходило, что осанка у нее неважная, сутулится иногда, движения судорожные, нет врожденной пластики, в музыку попадает через раз. Работать ей нужно много, чтобы научиться двигаться изящно, не говоря об остальном. После тренировки Айлин непривычно молчала. Дама старалась сделать вид, что ничего не произошло, и щелкала за двоих.

– Вы тоже считаете меня бездарной, как наш тренер? – глаза девушки наполнились слезами. – А ведь я была призером в беге на пятьсот метров среди юниоров. Да, занималась легкой атлетикой с семи лет. Мой тренер очень строгий был. Заставлял нас такие тяжести поднимать, что и взрослым мужчинам не поднять. Ушла я от туда. Надоело. Думала, вот танцы... Красота... Когда дома сказала, что буду танцами заниматься, знаете, что ответил мой папа?

Дама боялась прервать каким-нибудь неуместным замечанием крик души Айлин. Только покачала головой.

– Так вот. Мой папа сказал, что мне, взрослой дылде, нужно о муже подумать. Рожать пора, потом поздно будет. Мужа искать надо, а не дурью маяться, танцами заниматься. Так и сказал, – Айлин вопросительно посмотрела на даму. – А вы как думаете? Вы взрослая, у вас дети. И вы танцуете.

– Что я могу тебе сказать, девочка? Каждый выбирает дорогу сам. Тебе хочется замуж?

– Мне?! Ни за что! Если бы я могла жить, как хочу! Никогда я не стала бы выходить замуж. Танцевать, путешествовать, наслаждаться жизнью, вот моя мечта! Пока молодая, пока не стала старой шваброй.

Дама улыбнулась. Не стала комментировать эмоциональный порыв девочки. Подумала лишь, что теперь она знает, какой у Айлин «запретный плод». Желание простое, но очень сложное для исполнения. «Жить, как хочу!». В сущности, она и сама стремилась к тому же.

Дама вышла из клуба и неспешно пошла по бульвару. Город, ее город в вечернем наряде, словно кавалер с карнавала, в пышной богатой одежде, украшенной драгоценностями и кружевами, скрывающий лицо и истинные желания за затейливой

маской, не был похож на степенный, немного чванливый средневековый Брюгге, точно так же сдерживающий свои порывы под личиной благопристойности. А люди... Так же, как и города. Носят маски, чтобы легче было получить «запретный плод». Если повезет.

Клише – прокрустово ложе нашего сознания

Эссе

Клише – рисунок, чертеж на металле, камне, дереве для печатания. Вот такое определение дает словарь иностранных слов. Слово получило широкое распространение в переносном смысле. Часто повторяющиеся фразы, картинки, идеи можно назвать словом клише. А благодаря пропаганде, которая в последнее время расцвела с новой силой, можно говорить о клишированном сознании. И без клише, размышляя, говоря о чем-то, мы очень часто оперируем готовыми блоками, стереотипами. Клише упрощает эту задачу в разы. А пропаганда, вбивающая в нас, часто совершенно неосознанно с нашей стороны заточенные, как клинок (сравнила с клинком и обнаружила, что эпитет также грешит знакомым клише) представления обо всем на свете! По тому, какие клише употребляет человек, можно, совсем как Шерлок Холмс, используя дедуктивный метод, создать психологический портрет персонажа. Именно клишированное сознание, заставляющее действовать в соответствии с готовой программой, превращает основную массу людей в легко управляемую и предсказуемую толпу.

«Я представляю Вас в Париже. В красивом платье, на каблуках, с высокой прической. Мы вместе пьем шампанское на Эйфелевой башне!» – реплика из одной мыльной оперы. Вот это и есть клише. Готовая к употреблению форма, позволяющая малыми средствами вызвать в сознании определенный образ. В данном случае – образ романтического свидания. Интересно, что это романтическое клише работает, в основном, в пределах бывшего Советского Союза.

В этом незатейливом тексте, как в русских матрешках, кроется еще одно клише. Красивой ухоженной женщины. Каблуки, высокая прическа, красивое платье. Хотим мы того или нет, многие клише внедряются в сознание подобно троянской программе в компьютере. Совершенно неосознанно мы оперируем этими готовыми образами. Никогда бы не подумала, что могу попасться на удочку такого рода образов. Однако. В Париже, где я была один-единственный раз, с интересом разглядывала женщин, и меня не покидало чувство, что элегантные француженки исчезли в то лето из города моей мечты Парижа. Все встреченные мной дамы были одеты в простые легкие одежды, почти без макияжа, и все – в обуви на низком каблуке. И вдруг, вот она, удача, идет по бульвару женщина, элегантная, в моем понимании, это значит – в костюме по фигуре, на каблуках (хотя и небольших), у нее в руках настоящая дамская сумка, макияж виден невооруженным глазом. Подходит поближе, и я узнаю в ней бакинскую знакомую. Вот такая трагикомическая история.

Вопрос о клишированности сознания не нов. Эдмон де Гонкур в 1889 году отзывался следующим образом об одной из дам парижского света, мадам Арман де Каяве (Mme Arman de Caillavet), музе Анатоля Франса: «у этой женщины нет ни одной идеи, фразы, слова, которые не являлись бы клише из журналов «Revue de deux mondes» (Обозрение двух миров) или «Temps» (Время). Парижские дамы, желающие прослыть интеллектуалками, интересовались разными материями. Читали журналы и блистали готовыми, кем-то (в основном мужчинами) уже высказанными идеями. Не удивительно. Учитывая извечный мужской скепсис в отношении женского ума.

Процесс внедрения клише довольно длительный. Форма должна застыть, чтобы

превратиться в клише. В том случае, если та или иная фраза, образ повторяются многократно, то становится очевидным возникновение клише. В социуме в определенные временные отрезки, в основном, когда у правящего класса появляется срочная потребность внедрить новый образ, образ мышления, симпатии, заточенность масс на определенную идею, возможно ускоренное формирование готовых клише. Это выражается как в манере выражаться, так и в готовых, отлитых, словно из металла, не требующих рефлексий формулах. Для российского социума фраза «Крым наш» за короткий период превратилась в клише. Те, кто увлеченно, с особой интонацией повторяют эту вполне невинную вне определенного контекста фразу, будут оперировать определенным набором клише, искусно внедренных в их сознание, не отдавая себе отчета в том, что их образ мышления является продуктом массированного воздействия.

На мой взгляд, такая же судьба у истории признания Европой гей-движения. И не только признания, но и легализации гей-браков. Недавно посмотрела в рамках фестиваля британский фильм «Pride» 2014 года режиссера Matthew Warchus (Мэтью Уаркуса). У меня возникло чувство раздвоения личности. С одной стороны, мне казались симпатичными и достойными уважения люди, идущие против течения, пытающиеся отстоять свою особость, отличие от других. А вот с другой... Меня не покидало чувство, что такая трактовка их движения, когда все персонажи-геи симпатичны, артистичны, смелы, имеют активную гражданскую позицию и по другим вопросам социума, да и само название фильма «Pride», «Гордость», создают клише образа гея. Раз гей, значит, талантлив, смел, активен. В артистических кругах даже стало модным быть геем. Эта новое клише в подтексте содержит почти как обязательный элемент талант, остроту взгляда и утонченность. Учитывая, какое количество фильмов, статей и законодательных инициатив мы наблюдаем по этому вопросу в Европе, да и в остальных частях света, можно предположить, что это осознанная политика, имеющая свои определенные цели. Возможно, вопрос перенаселенности земного шара играет в этой политике не последнюю роль. Но это всего лишь мои предположения.

Один из примеров местного нашего клише, понятного только автохтонам: «Bura Azerbaýsandir» – вполне нейтральная фраза. От частого употребления затвердела и превратилась в клише. Безобидная форма наполнилась, увы, грустным содержанием, понятным местному населению. Люди, владеющие азербайджанским языком, но живущие в других странах, не воспримут эту фразу в качестве клише, она останется для них банальной констатацией. Другой вариант понимания возможен разве что в случае, если они активно интересуются местными реалиями. А вот те, кто живет здесь и сейчас, вспомнят о коррупции, произволе чиновников, плохой экологии...сюда можно добавить любой негатив, он органично войдет в готовое к употреблению клише.

Есть такой феномен в языке, как «скольжение смысла». Это когда одно и то же слово или фразеологизм меняют свое первоначальное значение. То есть устойчивая, застывшая форма начинает обозначать новое явление. Застывшее клише ломается изнутри. Меняется содержание. Мне бы очень хотелось увидеть то время, когда устойчивое выражение «Bura Azerbaýsandir» наполнится новым смыслом. Оно будет означать место, где нет коррупции, где чиновники – слуги народа, а не наоборот, воздух чист и прозрачен, вода в Каспии – как слеза, а рыбы семейства осетровых и черной икры столько, что эти продукты станут обычной пищей рядовых азербайджанцев.

Возможно ли мыслить и действовать, не употребляя клишированные формы? Вопрос риторический. Невозможно. Вся наша социальная жизнь предполагает ролевые игры, использование определенной модели поведения и, как следствие, употребление клишированных форм. Другое дело, что очень непросто в какой-то момент понять, что навязываемое клише совсем не так очевидно, как вас пытаются убедить.

Еще одно явление перекликается с клише. Такое понятие, как «паттерны», имеет, на мой взгляд, некоторое отношение к клише. Паттерн, по сути, это шаблон, форма, повторяющаяся и способная регулировать хаос. Визуальные паттерны, к примеру – это по-

вторяющиеся узоры в природе и в искусстве. Обычно они симметричны, либо стремятся к симметрии. Понятие паттерна используется не только в искусстве, но и в науке, к примеру, математические паттерны. Но мне показалось интересным сравнить паттерны и клише. Почему вдруг такая ассоциация между клише и паттернами? По-моему, между двумя понятиями есть определенная связь, а именно, застывшая форма. А если согласиться со схожестью двух феноменов, то остается признать, что клише, являясь застывшей искусственной формой, созданной людьми (в отличие от паттерна, изначально природного явления), также участвует в упорядочении окружающего мира. Безусловно, гораздо легче оперировать уже готовым набором понятий, фраз, образов, чем каждый раз заново «изобретать велосипед». Интересный образец использования клише есть в моем любимом рассказе Андре Моруа «Рождение знаменитости». «Истинную сущность человека составляют те образы и представления, которые он пробуждает в нас. Вот тебе портрет полковника: голубой с золотом фон, на нем пять огромных галунов, в одном углу картины – конь, в другом – кресты. Портрет промышленника – это фабричная труба и сжатый кулак на столе». Ряд можно продолжать бесконечно, и самое интересное, что это вполне оправданное упорядочение существующих реалий. Другое дело, что природные паттерны рациональны. Они не только эстетичны, но и разумно функциональны, что не всегда очевидно в случае с клише, созданных людьми. Очень часто они превращаются в карикатурную форму идеи, образа. Так, как это описано гениальным Моруа.

Из наших реалий. Полукриминальный бизнесмен из, как их сегодня называют, «лихих» девяностых – это персонаж в малиновом пиджаке, на черном бумере и с толстой золотой цепью на могучей шее. Сегодняшний скинхед – накаченный бритоголовый индивид в черном, с характерным анимальным выражением лица. Готовая карикатура. Но как ни странно, она соответствует реальным персонажам. Можно сравнить их с ряжеными. Еще одно удивительное качество этого феномена. Созданное и активно внедряемое в сознание клише начинает беспардонно ломать сознание, укладывая его в прокрустово ложе своей банальной формы. Связь между формой и содержанием взаимопроникающая. Надел маску циника и уверяешь всех вокруг в том, что «все женщины лживы», через некоторое время ты не только поверишь в данное утверждение, но и твое сознание станет избирательно фиксировать только такого рода женщин. Именно они будут встречаться на пути у циника.

Бесспорно, природа мудрее, рациональнее, изобретательнее человека. А нам, людям, остается лишь понять, где те клише, что похожи на природные паттерны, из ряда нестареющих, а где те, от которых не мешало бы избавиться как можно скорее, пока мы не превратились в обезличенных роботов.



СЕРГЕЙ КОВАЛЕВСКИЙ

Настоящая подборка составлена из стихотворений С.А.Ковалевского, тематически связанных с Азербайджаном, Кавказом, вообще с мусульманским Востоком. Обращает на себя внимание датировка этих стихов, с очевидностью указывающая на посещение их автором Азербайджана, Кавказа и Туркестана ещё в 10-х годах прошлого столетия, то есть ранее срока, оговариваемого в известной нам биографической справке.

Восход солнца

**Днеет. Ночь убирает знамена,
Пряча звезду за звездой.
Ярче кумач на раменах
Тройки гнедой.**

**Вот Он. – Гордо летит колесница,
Высь под колёса клоня.
Жизнь спешит поклониться
Богу Огня.**

Закат солнца

**Вечер коснулся лиловою лапкою
Лёсса стонивых полей.
Яркие пряди червонной охапкою
Реют алей.**

**Даль кружевами лесов изузорена,
Сизая стелется мгла.
Узится место, где алая зорина
Краска легла.**

**С кочки на кочку без устали лазая,
Краски маня в западню,
Ночь из-за леса спешит, синеглазая,
К мёртвому дню.**

Июль

**Славьте жаркий день июля,
Славьте знойный сонцепёк...
Громы грома, гамы гуля,
Мчится сам Илья-пророк,**

Колесницей огнекрылой
Разорвёт тенёта туч,
И мелькнёт Небесной Силой,
Грозен, громен и сверкуч.

Даль, смывая песни зноя,
Задернёт лицо чадрой...
А вокруг, стена и воя,
Сеет, веет, реет рой.

Баку. 1916.

Изумруд

Я – фея лесная –
– Весна я.
Где листья и травы,
И шёпот дубравы,
И зов ароматов
От долов и скатов
Струится по нивам
Порывом;

Где радость и ласки,
И гомон и пляски,
И звон поцелуя,
Дразня и ликуя,
Несётся из сени
Сирени;

Где небо и дали
В лазурной вуали,
И вихри и воды,
Плетя хороводы,
Танцуют по склонам
Зелёным;

– Там, в вечном рожденьи
Из света и тени,
Кристалльно-хрустальном,
Как сон безустальном,
То птичкой, то мушкой,
То звонкой лягушкой,
То деревцем стройным,
То листным, то хвойным,
То сочной осокой,
Высокой, высокой, –
Являюсь я взору
В весеннюю пору,
Как луч изумительных руд...
Я – чудо из чуд – Изумруд.

В уразу

**В уразу не я – бачча¹ ,
Гости, бубны, дым кальяна,
Муж, сквозь сон глядящий пьяно...
Я ж – как жало, горяча.**

**Стянут стан тесьмой не туго ль?
Чётки груди... пышен круп...
Муж, зачем ты только труп,
У Рустема ж в сердце – уголь?**

**Всех верней сартянок-жён
Бюль-бюли, агат Алая.
Всё ж, где уголь – не зола я...
– Бюль-бюли² агат зажжён.**

**Брови сдвину синь-усмою³,
Ногти, зубы смажу хной,
И пока на сердце зной,
Красоты лица не смою.**

**Пусть Рустема жгучий нож
Тонет сладко в сердца ране...
Хоть и сказано в Коране:
«Ад – в измене»... Ну так что ж?**

**В час вечерний, час Намаза,
Где инжирный куст так густ,
Вспыхнут два тигровых глаза,
Стон сорвав с пунцовых уст.**

**И пока, баччи услад,
Муж и гости пьяны ядом,
Под инжиром, с ними рядом,
И Рустем, и я, и ад.**

Камчимбек⁴

**Сердце солнцу молиться устало,
Подъяремья не кончится век...
Камчимбека меж нами не стало,
Слышишь, путник, погиб Камчимбек?**

**Задержи иноходца на поле,
Не входи за изразины стен;**

¹ Бачча – мальчик-плясун. (Все примечания к текстам стихотворений С.Ковалевского – авторские. – Ред.)

² Бюль-бюли – соловей, женское имя.

³ Усма – краснецвет, дающий тёмно-синюю краску для бровей.

⁴ Камчимбек – народный герой Ферганы.

С городов мы не знали неволи,
Нет для нас у Судьбы перемен.

Камчимбек по ступеням Ала
Уносился к снегам Бляули...¹
Притомилась стрела удалая,
И погоня сверкнула в пыли.

Но отцов ятаган легковесный
Всех гяуров, как клевер, посёк...
Если б не было в книге Небесной,
Не упал бы меж них Камчимбек.

Бирюза

Я – бирюза –
– Полей слеза
Нагорий чёрных Хорасана.

Когда Ормузд
Из алых уст,
Больших и трепетных, как рана,
Свою любовь –
Огонь и кровь –
Струил на синий щит Турана,

То Хорасан
Свой нивный стан,
Где вечный март плела нирвана,
За темя туч
По зыбям круч
Поднял из влажного тумана.

И в тот же миг
Влюбленный лик
Склонился низко-низко к стану,
И, к дрёме трав
Огнём припав,
Ласкал зелёную нирвану...

С тех пор поля,
Воды моля,
В тоске приникли к Хоросану;
И пепел нив
Лазурный миф
Дарит пустынному Турану...
Я – бирюза –
– Полей слеза,
Грустить о них не перестану.

¹ Бляули – горное урочище на Алайском хребте.

Дивонá³

**Я – Дивонá, избранник Божий,
Презренье ваше – мой удел,
Мой кров – две брошенных рогожи,
Где дивный нищий захотел.**

**Мне Джабраэль мечом Аллаха
Земное сердце разрубил
И выжал кровь греха и страха
Из обнажённых устьев жил...**

**И стало сердце ртом дутары,
Напевдохнул из жильных струн...
И я с тех пор отшельник старый,
Как вешний гром, певуч и юн.**

**И хоть для вас моя отрада,
И хоть для вас – небесный свет,
Но вам не зреть в лохмотьях клада
В своём презрении, о нет...**

**И лишь порой душой голодной
Невольно лижете мой след,
Пленяясь песнею народной,
Не зная, кто её поэт.**

Александр под Хавастом²

**Нет, не исчезнуть на небе звёзд,
И не понять Аллаха благодать...
Зюль-Искандеру снова в тягость
Пиров майна-авганский дрозд.**

**Иль нет огня в очах баччей*
И у хорезмских дев – наркозов?
Шатёр пиров ему не розов:
Он бредит грозами мечей...**

**О, Базилевс, в песках пустынь
Слабей фаланг усталых топот,
И головных фиванцев ропот
Ничьих не милует святынь.**

**Броня изъела плоть ramen
И смерть сжимает сердце часто...
Не донести до стен Хаваста
Нам славы греческих знамён.**

¹ Дивонá – юродивый, нищенствующий.

² Хаваст – древнее поселение у входа в Ферганскую долину

Пойми, прости предсмертья злость,
Но знай, под зноем все застынем...
Зачем отдал чужим пустыням
Бесславно эллинскую кость?

Но нет, ещё помедли смерть,
Вдали сверкает серп Яксарта...
Эй, трубачей фиванских кварта,
Латунной песней славьте твердь.

* * *

Ты слепо своей покорился Судьбе
И страстно боролся с грехом и пороком,
Чтоб выполнить заповедь Божью.

Заходи... налился мёдом клевер,
Благостны душистые поля.
На покой ушли и муж и деверь,
Серебро серпами шеveledя.

Я одна на тихой половине...
Нет запрета сладостным мечтам...
Уст твоих, мой радостный Рустам,
Ждёт вино в фаянсовом кувшине.

Заходи... час этот твой не весь ли?
Будешь снова сердцу дивно люб...
Вишни на груди моей воскресли
Для твоих неогрубелых губ.

Саккизы¹

I

Душа, если ты не касалась ни разу
зноем губ золотого бокала,
налила что во мраке Любовь

из мехов благовонных Шираза;
если ты никогда не ласкала
зноем хмеля пленённую кровь, -

этих песен очами не тронь,
пусть прочтёт их камина огонь.

II

В моём кармане лишь пара фисташек;
А душу нежит любовница-лень,
Закрыв на всё поцелуем глаза...

¹ Саккизы – восьмистишие в поэтическом изложении.

Но разве больше у маленьких пташек,
Что славят радостно солнечный день,
Когда вокруг разлита бирюза?

Сирка¹, поведай дерзающим это,
Аллах такого лишь любит поэта.

III

Лицо к земле богомольная тьма
Прижав у пепельных ног тополей,
Беззвучно сердцу шепнула: «пора»...

Не бойся ночи сутаны, Фатьма, –
Чем гуще брови, тем сердце добрей,
Спеши, пока далеко до утра...

С зарёй раздвинутся чёрные брови,
И вспыхнет глаз опоздавшей свекрови...

IV

Если ты куришь ширазский табак,
Если ты пьёшь Хамадана вино,
Если ты женщин целуешь колени,

Если в толпе беззаботных гуляк
Ты – лишь цепи золотое звено,
Полное ласки любовной и лени,–

Руку, приятель, – на этом крепка
Дружба с тобою поэта Сирка.

V

Из оливы сделай сердце мне, Пророк,
Из шафрана – радостника кровь,
Из агата винного – уста,

Чтобы нежно я сказать Тюльпану мог,
Что моя жемчужина – любовь,
Как Замзам, кристальна и чиста.

И тогда лишь не пройду я мимо
Твоего крыльца, Хазаль-Фатима.

Баку, 1919.

¹ Сирка – имя автора в саратовском произношении.

Горумды¹

Задержи скакуна, легковерный джигит,
Не стучи о граниты копытом...
Всё равно не достать низкорослых раки
На плече Горумды ледовитом.

Всё равно не смутить вечно-белых снегов
Ярко-красною глиной долины...
Не черпнуть черпаком золотых облаков
На лихие Джань именины.

Задержи скакуна: нелюдим Горумды,
И не любит подковного звона...
Иль Джань потеряет родные следы
У тяжёлого следа дракона.

Баку

Моряна с нордом, свищут нарды...
Игра слепа – и каждый зол...
И горы створок мёртвых кардий
В расплате наметал Эол...

Который год?.. Кто был у счета?...
– Гиркан... Хорезм... Понт... Сармат...
– Широки «Волчии ворота»
И «Волчьей гривы» кол космат...

И я, чей волос меден хною,
И ты – неверный Арарат,
За нарды брошены судьбою,
И не найдем конца расплат...

... И вечен спор за стуком кости,
Моряна, Норд ведут черёд...
И кто повинен в этой злости,
Язык людей не разберёт.

Баку, 1920.

Намаз

Аллаха благость... Аллаха благость...
Примите с миром вечерний час.
Да будет сумрак очам не в тягость.
Да будет светом душе намаз.

¹ Горумды – одинокий пик в верховьях Алайской долины.

Аллаха милость... Аллаха милость...
Явите к ближним Его любовь;
Почтите старость, призрите хилость,-
К Аллаху ближе седая бровь.

Аллаха кротость... Аллаха кротость...
Гордо ли сердце, душа ль строга,
Вдыхайте чистый Ислама лотос,
И да не будет меж вас врага.

Аллаха святость... Аллаха святость...
С молитвой встретьте сходящий сон.
Пусть небо ложно, пусть всё – предвзятость,
Но непреложен любви закон.

Кизляр, 1921.

* * *

Лист инжирный широк и покровист,
Под инжиром так вытопан лёсс...
Это – ночи короткая повесть,
Что с полей летний ветер занёс.

В час полудня, на клеверном поле,
Ты мечтала в снопах без чадры;
Вся алея, как мак, оттого ли,
Что у солнца лучи так щедры?

Иль, быть может, негаданной встречей,
Что огнём опалилась душа...
Позабыл я тут гурт свой овечий
И застыл над тобой, не дыша.

Говорил ли о радостях ласки,
Иль безмолвно к снопам твоим ник?
– Я не помню, но вихорь Таласский¹
Обещал мне тебя, мой Тростник.

День влачился томительно-сырым;
Всё вокруг позабыл Муштари,
Только помнил слова: «Под инжиром,
Через час после полной зари»!

О, Аллах, не в святейшей ли суре
Ты Пророку дал радости жён?
– Под инжиром в пленительной буре
Ночью лёсс до бела был сожжён.

Гянджа, 1921.

¹ Таласский – (Алатау) – горная цепь.

«НЕТ, НЕ ИСЧЕСТЬ НА НЕБЕ ЗВЁЗД...»

Кажется, привелось-таки мне сделаться открывателем нового имени в истории русско-азербайджанских литературных связей. И имя это: Сергей Александрович Ковалевский, принадлежащее и доныне широко известному в мире науки выдающемуся советскому геологу и палеогеографу. Окончивший в 1915-м году Петербургский горный институт, 20-е – 30-е годы проживает С.А.Ковалевский в Баку. Здесь же, защитив при местном Комиссариате народного образования докторскую диссертацию по геолого-минерологии, назначенный на профессорскую должность, преподаёт он в Азербайджанском нефтяном институте, наряду с этим осуществляя руководство впервые предпринятой тогда в республике разведкой месторождений редких газов и элементов (гелий, ванадий, вольфрам, кобальт, молибден и др.). Вскоре же за трудовое своё усердие удостоивается он звания заслуженного деятеля науки и техники Аз.ССР.

Ещё одна важная веха в биографии С.А.Ковалевского: в 31-м – 33-м годах, консультант треста «Средгазнефть», последовательно открывает он нефть в Туркмении (месторождение Небитдаг) и Узбекистане (месторождения в Андижане и в Ферганской долине).

В последующем человек этот совершит ещё немало замечательных открытий:

выявит крупную морфоструктуру – линеймент – на северо-западном побережье Чёрного моря;

установит, что греческое своё название – «Понт Эвскинский» море это получило по имени существовавшей на территории современной Эфиопии древней страны «Пунт», часть населения которой некогда переселилось в Эгейско-Черноморский регион и дало здесь начало греческому этносу;

определит, что античная Колхида реально занимала всё восточнее Причерноморье, а её столица – Ея находилась на берегу Азовского моря и что одним из результатов экспедиции аргонавтов стало открытие Маньчского пролива и Пруда Солнца – Каспия, поскольку легендарной рекой Фасис объективно следует полагать не Рион, как то было принято считать, но именно рукав Реки-Океана – Маныча, соединявшего в прошлом Каспий с Азовским морем и которого обмеление началось за 34 – 35 тыс. лет до нашей эры.

Будучи сам профессиональным геологом (служу в Институте геологии НАН Азербайджана), я, конечно же, в достаточной мере знаком был с научно-теоретическим наследием знаменитого моего коллеги в данной области знания. Но вот совершенно неожиданно становится мне известно, что оставил он после себя также наследие художественно-литературное, что учёный-мэтр, оказывается, всерьёз занимался сочинительством стихов, да к тому же ещё отменно рисовал. Немало заинтригованный этим новооткрывшимся мне фактом, немедленно пустился я на розыски «раритетов». Но, увы, ни в одном из казённых бакинских книгохранилищ ровно никакой информации по интересующему меня предмету так и не обнаружил. И тогда принялся ворошить я Интернет, в итоге, на странице сайта «Наш Баку», найдя возжеленное – сообщение об издании в 1923-го году сборника стихотворений С.А.Ковалевского «Кальян», подписанного инициалами «С.А.К.». Как только представилась мне такая возможность, прилетел я в Питер, сейчас же наведавшись в библиотеку им. Салтыкова-Щедрина, где снял ксерокопию с хранящегося там экземпляра «Кальяна». Книге этой, как я надеюсь, однажды непременно случится быть переизданной в Баку и занять тогда подобающее ей место в главном книгохранилище нашей страны.

В мае 1975-го, в результате нелепой случайности – автодорожной аварии, Сергея Александровича не стало. СВЕТЛАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ!

Юрий МАМЕДОВ

ЭМИЛЬ АГАЕВ

БА-А, БАКУ!

Ветры перемен

«БА!» – непроизвольное восклицание по отношению к непостижимому, удивительному.

Из «Толкователя слов»

У каждого не только времени – каждого места на земле – свои герои.

Среди героев в жизни бакинцев, бакинцев моего поколения, несомненно, был Алиш Джамилевич Лемберанский – лучший мэр в истории не только Баку, но, недавно прочитал, даже СССР.

А что, подумалось мне, если бы Лемберанский заглянул из своего времени в наше, глянул...на сегодняшний Баку?! Эта шальная мысль пришла в голову, когда я прочитал письмо Бахрама Багирзаде, адресованное главе исполнительной власти Баку, с просьбой, чтобы тот взял да и... поставил памятник Лемберанскому!

Не знаю, что ответил Бахраму «мэр» и ответил ли вообще, оставим и то, что сама эта просьба не лишена прикола старого кэвээнщика, поскольку ставить памятники не в компетенции Гаджибалы, да и если и было бы в его компетенции, едва ли он, традиционно воспринимаемый нами как мэр Разрушитель, Сноситель, возвеличил бы в бронзе того, кто вошел в историю Баку, наоборот, как мэр Созидатель, Строитель!

Но представить, что испытал бы Лемберанский, глянув на сегодняшний Баку, нельзя, не зная, каким застал Баку, возглавив его в свое время, сам Лемберанский.

Снос

Это было давно, полвека прошло.

...Жили мы не в центре. И центр лично я помню больше по парапету, бывшему саду Карла Маркса (ныне Площадь Фонтанов), – запущенному, заросшему (деревья нависали густой сенью над скамейками и дорожками, что хорошо было летом – много тени, но плохо зимой – сумрачно, мало света). Я тут часто бывал, посещая библиотеку имени Ленина. И помню неказистые одноэтажки с кустарными мастерскими, магазинчиками. А за библиотекой, по улице Толстого и выше, – неприглядный пустырь, автостоянка с десятком машин, за пустырем – снова одно-двухэтажки...

Первым и, пожалуй, единственным благоустроенным кварталом, да еще и расположенным в лучшей, с экологической точки зрения, части города (не зря тут обосновалось американское посольство!) был в то время Арменикенд; здесь же появились и первые «сталинки»...

А каким был бульвар? Живым, людным, но неприятзательным, очень скромным. Запах нефти, особенно когда дул ветер со стороны моря, гилавар. Под ногами, в трещинах асфальта, плескалась вода, покрытая черной маслянистой пленкой... Я еще застал купальню, к тому времени брошенную, обветшалую, так что, как я слышал, фотограф,

помогавший фотокорреспонденту журнала «Огонек» ее снимать, чуть не провалился, наступив на прогнившую доску.

Здесь уже не купались, поскольку вода в бухте совершенно загрязнилась после того, как в годы войны цистерны с нефтью перевозили через Каспий на плаву, некоторые переворачивались, и их содержимое попадало в воду. И еще – море в то время обмелело, отступило от берега, и сваи, на которых и стоял сказочный деревянный дворец Бакинской купальни, обнажились, голо торчали из воды...

Одно, сугубо личное, но яркое (яркое в буквальном смысле!) воспоминание.

...Поздний вечер. Я, уже второкурсник, сижу с девушкой из нашей группы Лидой по фамилии Безобразова (хотя фамилия была, ох, как далека от реальности!), сидим напротив Дома Правительства, возле моря, на скалах, уйдя подальше от посторонних глаз. Там, где, по рассказам моего отца, в начале прошлого века охотились на зайцев и где сейчас разбит потрясающий по красоте цвето-музыкальный фонтан... А тогда здесь был пустырь (кончался Черный город и только-только начинался бульвар). Целуемся.

Как вдруг нас...ослепляет луч прожектора, до нас доносится смех матросов со стороны одного из кораблей, стоявших на причале, неподалеку. Мы вскакиваем, перебегаем на другое место – луч прожектора за нами. На мгновение теряет нас, шарит по пустырю, находит, и снова сплит – под хохот матросни...Ох, уж эта грубость, простота нравов!

Я ходил тогда в Морской клуб, даже сдал экзамены на звание старшины шлюпочной флотилии (гребля, бросание каната, сигнализация флажками). И вот в один прекрасный день, несмотря на то, что на флагштоке «Водника» не было шаров, что означало ветер, волнение, а значит – запрет на выход в море, нам с другом и однокурсником, поэтом Мансуром Векиловым, которого я пытался тогда заразить греблей, не дали лодку, «ялик». Что такое?

– Да что-что, купальню сносят! – коротко и как-то очень обыденно объяснил нам директор клуба Воропаев.

...И вот на наших глазах к купальне подъезжают армейские машины. Хлопки взрывов, с шипением падают в воду снопы искр. Солдаты вылавливают плавающие доски, сносят крепкие – видно, что были хорошо просмолены – сваи...

Череда Чудес

...Вот таким был Баку. Обычным. Скромным. Простым.

Помню кассы у ворот парка Дзержинского, недалеко от которого мы жили, за вход в парк тогда платили. Сам я, правда, перелезал, как и другие мальчишки, через забор... Как вдруг в один прекрасный день подхожу к парку и вижу: решеток нет, снесены!

И это – одно из первых, что сделал тогда Лемберанский. Череда сносов – самостроек, заборов-оград. И тут же, одновременно, ЧЕРЕДА ЧУДЕС!

Открывается морю Гыз галасы, освободившись от неказистых строений вокруг нее. Пешеходной зоной становится Торговая. Гуляя по городу, теперь, при желании, можно присесть – повсюду, как из-под земли, выросли раскрашенные в разные цвета скамейки (их прозвали «фестивальными»). Появились оригинальные фонарные столбы, изготовленные по эскизам самого Лемберанского; они – чуть выше человеческого роста, светят не вверх, в небо, – нам. А сказочная «Венеция», мостки через каналы с маленькими кафе, где все вкусно и недорого! А три грации на «молоканке» – идею этого чуда Лемберанский привез из поездки в одну из скандинавских стран. Во времена Народного фронта их убрали, но, к счастью, потом удалось восстановить. А «грации» искусно выполненных белоснежных лебедей на бульваре (их, увы, снесли!).

Баку на глазах становился все красивей, чище, все веселей. Приобретал нынешний, истинно столичный вид.

...Небывалый ВЗРЫВ ОБЩЕНИЯ. Первый концерт в великолепном Зеленом театре, который тут же признали лучшим в Европе!

Мода на молодежные кафе. На слуху любимое детище Лемберанского (и всех нас!) – «Наргиз». Но я помню себя танцующим в другом уютном кафе, где проходит вечер за вода имени лейтенанта Шмидта, расположенном на кругу, напротив Азербайджанской драмы...

И все это не резало глаз своей новизной, органично ВПИСАЛОСЬ в привычный для нас Баку. Замкнутые дворики, общение соседей – все это осталось, как и раньше. Но и, вместе с тем, выходя за рамки замкнутых «итальянок», превращалось во что-то БОЛЕЕ ОБЩЕЕ; бульвар стал походить на как бы слившийся в одну линию общий для всех бакинцев большой двор...

«Мы не были знакомы, но знали каждого в лицо», – скажет позже при обсуждении нового генплана Баку председатель правления архитекторов России Александр Рочегов, бывший бакинец.

Спящая красавица

Я не был на том обсуждении последнего генплана Баку, разработанного в середине 50-х и являвшегося, по сути дела, откорректированным генпланом 1934-37 годов, в котором (впервые в СССР!) предусматривалось развитие не только самого города, но и его окрестностей – всего Большого Баку, включая весь Абшеронский полуостров.

«Это совершенно замечательное, потрясающее место на земле – Абшерон, это Богом данная земля», – скажет тот же Рочегов. Резко выступив против того, что бакинцы теряют свои традиции – в результате возведения многоэтажных домов, с запикиванием людей на верхние этажи, что вредно для здоровья – тем более, если учитывать бакинские ветры, которые, в частности, не предусмотрены для многодетных семей, он сказал и о том, что надо вернуть бакинцам летние помещения («Почему мы больше не спим на крышах, что – не можем сделать плоской крышу?!»). А зам.начальника городского строительства Госплана Ходжаев сказал, что Баку занимает не то место, которое должен, сравнил его со спящей красавицей, которую надо разбудить.

Читая эти выдержки из своего архива, я думал – да, мы клянемся в любви к своему Баку (и это правда!), но сам я, скажем, впервые поднялся на Гыз галасы уже в зрелом возрасте, показывая Ичери-шехер... друзьям из Германии. А когда писал путеводитель по Баку – самый полный, который был издан на четырех иностранных языках московским издательством «Радуга» и даже... издательством «Аястан» на армянском (по инициативе, к слову, самого этого издательства!), то, к своему удивлению, встречал стариков, которые родились и выросли в Крепости, но так и не удосужились пойти и посмотреть хотя бы раз в жизни находящийся рядом Дворец шированшахов. Цитата: «Что, у меня своего дома нет, что ли, чтобы я ходил к шаху!»...

«Если любишь ты Баку»

А вот выдержки из «Напутствия гиду» Расула Рзы:

*Гид,
если любишь ты Баку...
если любишь его упорство,
стойкость в трудный час
и корни виноградников его,
во тьме земли*

*вслепую ищущие воду,
его набухший солнцем виноград,
то желтый как янтарь,
то алый, как коралл,
то черный, как агат.
...Да, если любишь ты Баку
со всем, что есть в нем,
со всем, что будет,
и с черными тюльпанами
далеких вышек нефтяных,
темнеющих маревом огней...
с его ветрами,
бросающими горсти пыли
в лицо прохожим,
ласковой моряной
и с редким снегом,
рассыпанным, как белая крупа,
и если ты улавливаешь ритм
его большого,
вечно бьющегося сердца,
и ощущаешь
цвет его весны
и цвет его зимы,
запутанность
его старинных улиц,
окаймленных крепостной стеной,
и, что всего важнее,
если любишь
его людей
и понимаешь жертвы безымянные его,
тогда я могу поручить тебе
его гостей –
тогда ты можешь
быть их гидом!*

Генплан – Баку 2005

Я не мог не процитировать эти замечательные стихи, которые давно и бережно храню в папке, наряду с другими материалами разных лет. И, в частности, своими заметками в красивом блокноте, на котором написано «Генплан Баку 2005».

Этот Генплан не был принят, поскольку обсуждение его в конце 80-х совпало с началом распада СССР, с гарабахскими событиями. Но я, как собкор «Литературки», был приглашен на его обсуждение (вместе с собкором бывшей газеты «Социндустрия», увы, уже покойным Джаванширом Меликовым).

Так вот. Обсуждение происходило в актовом зале Баксовета, в узком кругу специалистов и ответственных лиц, с участием самого тогдашнего первого секретаря ЦК Кямрана Багирова (всего 23 человека, включая стенографисток, пометил я в блокноте).

И что любопытно? Выступавшие говорили о вещах, которые были некоторое время тому назад сделаны Лемберанским, и о том, как бы в развитие этого, что будет сделано потом – самим Лемберанским, приглашенным из Москвы, куда он был выдвинут на ответственную работу и вернувшимся в Азербайджан по приглашению Гейдара Алиева, когда тот пришел к власти, и после него, Лемберанского, уже в наши дни...

О развитии Большого Баку, включающего в себя не только поселки Абшерона, но и островки в море, вокруг него – естественные (о. Нарген) и искусственные (Нефтяные камни). И о расширении Бакинского бульвара – в сторону «черного города» и судостроительного завода с переносом последнего в другое место, за Аляты, и о восстановлении приморских фонтанов, испорченных во времена митингов на площади Азадлыг, и о создании в некоторых местах новых подземных переходов, и о способах укрепления береговой зоны – с применением понтонов или методом шпунтирования (обмеление Каспия сменилось в те годы резким подъемом его уровня, что привело к затоплению части бульвара), и о рекультивации загрязненных нефтью земель, и о том, как вернуть бакинцам море, вернуть город к морю (развитие причалов для стоянок яхт, лодок, каботажного плавания; одно время, напомним, суда ходили и между бульваром и Шиховским пляжем), и о дорогах – кольцевой, через Загульбу на Сумгаит, и о создании лесопарковой зоны...

Новый бум

Ну, а теперь – Баку сегодняшний, новый бум. Эра, если так можно выразиться, Гаджибалы (хотя на самом деле – да, конечно, эра, но – отнюдь НЕ ЕГО!).

Впрочем, справедливости ради, при всем том, что Лемберанский и Гаджибала, конечно же, совершенно несравнимы, несопоставимы (и как мэры, и как личности), есть у них и нечто общее. А именно – невероятная, нечеловеческая работоспособность. Жажда все время что-то в городе менять.

Менять, но...К лучшему или худшему? Рука чешется написать – вот она, коренная разница! Если Алиш Лемберанский всю свою неумную энергию направлял – безусловно! всегда!– на изменение Баку к лучшему, то Гаджибала, наоборот, только и делает, что подставляет бакинцам «подножки» – вот еще что-то поломал, еще где-то что-то снес!

Но, во-первых, сам Лемберанский начинал, как я уже написал выше, со сносом, это неизбежно для любого города, будь то даже «столица Европы» Париж. А, во-вторых и главных, разве Баку за последние годы не изменился к лучшему, не похорошел? Изменился, похорошел – да еще как! Украсился суперсовременными зданиями, тем, чем мы заслуженно гордимся, чем не перестают восхищаться наши гости! (Помните восторженные отзывы, в частности, Ксении Собчак, сравнившей преображенный Баку с застывшей в своем развитии Москвой, несмотря на поток до последнего времени все тех же нефтедолларов!).

Однако возведение новых, блистательных по своей архитектуре, по оригинальности зданий, некоторые из которых вошли в перечень мировой архитектуры, заслуга вовсе не городских властей – решения, во всяком случае, самые главные, принципиальные, мы это прекрасно знаем, принимались сверху, на уровне самого президента, первой леди. Скажем, можно ли считать заслугой Гаджибалы-муаллима на редкость удачную реконструкцию двух главных «козырей» Баку – Ичери-шехер и Бульвара? Конечно, нет!

В 2005 году (десять лет назад – в пору юбилей справлять!), указом президента исторический центр Баку был передан в подчинение Кабинета министров, то есть получил независимый статус. А проект Master Plan центра Баку, автором которого является знаменитый Карло Кесари (автор и мастер-плана Мехико), был подготовлен группой международных экспертов. (Несомненные плюсы и определенные минусы – а они есть! – того, что проекты по реконструкции и консервации центра Баку решались на столь высоком мировом уровне, но без привлечения наших специалистов, таких, как, скажем, покойный Эмиль Ахундов, – тема для отдельного разговора).

А в чем для меня (и не только для меня) феномен Лемберанского? Образованность, интеллект, безупречный вкус, чувство юмора? Само собой. (Помню, как на своем юбилее он сказал, обращаясь к Гейдару Алиеву: «Все великие люди родились 10 мая!», что вы-

звало общий смех и улыбку президента; ведь они с Лемберанским родились в разные годы, но в один день!).

Но, пожалуй, что принципиально отличает феномен Лемберанского, так это его ИНИЦИАТИВНОСТЬ – раз. И – два – невероятная, сумасшедшая, как сказал как-то его внук Ибрагим, ЛЮБОВЬ К БАКУ.

«Для меня он навсегда останется человеком-загадкой, – написала в журнале «Баку» Лейла Алиева. – Откуда у директора крупного нефтеперерабатывающего завода взялось столько вкуса, архитектурного чутья и неиссякаемой энергии, помогавшей решать, казалось бы, неразрешимые вопросы? Мне на ум приходит только один ответ: когда человек влюблен, возможно все...»

Эстафета

...Ну, а теперь, возвращаясь к вопросу, заданному вначале, – что подумал бы, увидев сегодняшний Баку, Лемберанский?

С первого взгляда, я думаю, он не сразу бы узнал Баку. Вдохнул бы, скажем, не увидев той зелени, в которой некогда утопал центр (в интернете увидел два фото – с изображением с верхней точки, где стоял памятник Кирову, подковы Бакинской бухты 60-70-х годов и в ее нынешнем виде – разница колоссальная!).

Но от сердца у него отлегло бы, если бы на месте воздвигнутой в его время гостиницы «Москва» он увидел бы архитектурное чудо, ставшее лейблом Баку, увидел бы преобразенную, вытянувшуюся уже до Площади Флага набережную, супер-отели у Дома правительства, блистательные подземные переходы. А при виде Центра Гейдара Алиева, застройки на месте «черного города» потрясающего воображение «Белого города» и многого, многого другого, я убежден, пришел бы в полный восторг!

Но главное – МАСШТАБЫ ПЕРЕМЕН, что объяснимо, если сравнивать то, что имеет нынешний Баку – столица независимой республики, да еще в пору нефтяного бума, с возможностями Лемберанского, возглавлявшего городской совет столицы одной из советских республик, где для того, чтобы построить что-то заметное, крупное, надо было кланчить деньги у Москвы, а потом еще все бесконечно согласовывать, вплоть до мелочей, утрясать в верхах. Правда (ложка дегтя!), его бы огорчило то, что тот же Рочегов, бывший председатель Союза архитекторов РФ и бывший бакинец, назвал «восстановительным экстремизмом». Снос того, что можно было не сносить или сносить, но не все (скажем, при строительстве так называемого «зимнего бульвара» – никакой он не зимний, никакой не бульвар!), «евроремонт», подчистка старых архитектурных зданий, некоторые в самом центре новостройки...

Но, что главное, – он бы с радостью почувствовал, что начатое им когда-то грандиозное благоустройство (переустройство!) Баку получило свое развитие (да еще какое!), что его эра, эпоха Лемберанского (условно назовем ее так), не кончилась, продолжается, причем, – на новой, куда более мощной волне.

Что-то – да, пока непривычно, порой даже режет глаз – во всяком случае, для людей моего, старшего поколения. Но я гуляю по городу, и внутри меня звучит – так же, как и звучало полвека назад, все то же:

– Ба-а, Баку!

...Ну, а что касается памятника Лемберанскому, то... а нужен ли он? Разве это не памятник ему – сам Баку. Вечно растущий, меняющийся, удивляющий чем-то новым, оставаясь в то же время, в принципе, самим собой!

ИНТИГАМ МЕХТИЕВ

В очереди

Рассказ

Перевод Солмаз ИБРАГИМОВОЙ

Проснулся я поздно. Проклятый будильник, никуда не годится, опять, видимо, остановился под утро. Правда, я могу проверить время по своим ручным часам, они на столе. Но мне лень это сделать, потому что в комнате холодно. Да и к чему, ведь сегодня воскресенье, и торопиться мне некуда. Неплохо было бы сейчас послушать утренний концерт. Протягиваю руку и включаю радио. Передают советы кандидата сельскохозяйственных наук о том, как ухаживать за крупным рогатым скотом зимой. Значит, уже поздно, концерт закончился. Пора вставать.

За окном валят крупные хлопья снега. Меня охватывает радость: это похоже на первый снег. Но первый снег уже прошел пять дней назад и даже успел растаять. Снег следующих дней уже нельзя сравнить с первым. Мне казалось, что этот снег и не такой уж мелкий, и даже не такой холодный, как первый. Пусть он сыпет всю ночь, однако не может занести следы, оставленные днем пешеходами и машинами. Но сегодня снег особенный, не налюбуюсь им. Словно волшебным покрывалом покрыто все вокруг, не видно не следов, ни ям, никаких неровностей, все вокруг гладко. Сейчс появятся новые следы, новые дорожки.

В нашем дворе я вижу большую белую площадку. Словно сама природа рассчитала ее для какой-то игры. Взрослым недосуг перейти по этой площадке, проложить первую тропинку по ее первой белизне. Этим, конечно, займется детвора, – скоро ее восторженные возгласы заполнят весь наш двор и выплеснутся наружу, разнесутся по всему кварталу. Именно дети страшно любят прокладывать тропки по свежевывавшему нетронутому снегу.

В такие минуты я почему-то чувствую себя необыкновенно бодро и весело. Мне хочется примириться со всеми, на кого я обижен. Но для этого я не ищу всех этих людей по их адресам. Я просто брожу по заснеженным улицам. Если встречу кого-нибудь из них, первым протягиваю руку для примерения. Вот и сегодня... Доев последний кусочек чурека, присланного мне мамой из деревни, выхожу из дома.

А вот и те, кто проложили первые следы на белую площадку, вернее те, кто уронил ее в моих глазах. Дети. Несмотря на мороз, на пронизывающий ветер, они уже тут, играют, возятся в снегу. Я замечаю, что забыл завязать шнурок на своем ботинке. Пока, нагнувшись, я занимаюсь этим, слышу, как недалеко от меня шепчутся два маленьких шалуна. Девочка с раскрасневшими щечками говорит своему товарищу, забавно коверкая слова.

– Акиф, давай поьем этого дядю снежками.

Карапуз, чуть постарше, не соглашается:

– Нет... мы его поьем, а потом он нам так задаст... Видела, как только что Акперу попало от одного дядьки...

Не могу удержаться от смеха и оборачиваюсь к ним:

– Не бойтесь, я вас не трону. Бейте, сколько хотите.

Радости малышей нет границ. Девчурка звонко, на весь двор, зовет всех друзей.

– Фарида, Рамиз, все идите, закидаем этого дядю, он разрешает.

Остальные дети словно с утра ждали этого приглашения. Они, как осы, и налетают на меня со всех сторон. Что ж, мне только остается, подняв воротник, стойко выдержать этот снежный шквал, обрушившийся на меня. Постепенно количество снежных «снарядов» уменьшается. И вот уже могу осмотреться вокруг. Остались лишь более взрослые, стойкие дети. Остальные побежали домой греться. Я выхожу на улицу и продолжаю свой путь.

Я долго брожу по улицам. Встречаюсь с друзьями. Но, как назло, среди них нет тех, на кого я обижен. Вдруг вспоминаю одного человека. Обычно мы то и дело миримся или соримся. Вот и вчера опять повздорили. Пообещав не разговаривать друг с другом две недели, расстались. Теперь я сделаю первый шаг, чтобы помириться с ней. Захожу в телефонную будку и набираю знакомый номер.

– Алло.... ты? Здравствуй.

– Да, сударь, это я. Привет. Кажется, в вашем календаре срок закончился, а? Мы же договорились, что на четырнадцать дней...

– Совершенно верно. Сегодня я хотел оторвать один листок календаря, и вдруг, вижу, оторвалось сразу тринадцать. Знаешь... Без шуток, в такую погоду невозможно ни с кем быть в ссоре.

– Ха-ха-ха, кажется, ты снова выпил, и переполнен вдохновения.

– Нет, ошибаешься, я трезв, как никогда. Просто мне очень нравится этот снег, и я себя великолепно чувствую.

– Хорошо, что же мне сделать для тебя, чтобы угодить?

– Ничего особенного. Я хочу, чтобы ты оделась потеплее и пришла. Жду тебя «на краю света» (так мы условно называли место наших встреч – безлюдный заросший парк на окраине города).

– Зачем тебе на край света в такой холод? Иди домой.

– Приходи непременно, слышишь?

– Ну, что ты хочешь? Мы же договорились на две недели...

– Приходи, хочу запустить в тебя снежком? Поняла? А потом опять поссоримся.

– Ха-ха-ха!.. Хорошо, жди, иду. Но учти, срок продлим на один день. Пока.

Пришла. Снежком, уже подтаявшим от того, что долго держал его, угодил ей в спину. Лицо ее даже перекосилось от боли, но она, тут же слепив снежок, хотела ударить меня по лбу. Промахнулась. Нацелилась второй раз и попала. Потом мы помирились. Потом вволю забросали друг друга снегом. Дурачились, хохотали, разговаривали, гуляли, дрожали от холода. Потом.... поссорившись, расстались на две недели.

Постепенно на город надвигались сумерки. Колючие снежинки, больно бьющие по лицу, тоже меняют свой цвет, становятся серыми. Я снимаю комнату в нагроможденной части города. Транспорт, конечно, сегодня туда подняться не сможет. Как и многие другие, я пешком иду домой. Чувствую, что успел проголодаться. Тут вспоминаю: сегодня утром позавтракал последним куском маминого деревенского чурека, который я с таким удовольствием ел эти пять-шесть дней. Значит, надо купить

хлеб. Между тем, погода портится. Снег валит все сильнее и сильнее: это уже настоящая метель. Еще утром по радио сообщили, что ночью ожидается понижение температуры до десяти градусов мороза. Здесь не часто случаются такие холода. Я подхожу к очереди у хлебной лавки.

– Кто последний?

– Слушай, какая разница, первый, последний? Это все равно, что делить шкуру неубитого медведя!

Окружающие громко смеются, и сразу изо рта у них вырывается облачко пара.

Под безмолвную музыку холода вся очередь словно танцует на месте какой-то непонятный танец без ритма и мелодии. Я тоже присоединяюсь к ним. Говорят, что хлеб должны привезти к десяти часам вечера. Сейчас восемь. Время от времени кто-то из стоящих в очереди уходит. Происходит своеобразный естественный отбор. Ближе к девяти утра никто не хочет терять свое место в очереди.

Каждый старается сказать что-нибудь смешное, сделать нечто забавное. Словно от этого мороз будет не таким крепким, да и время полетит быстрее. Любое слово, незначительный жест, в другой ситуации не показавшиеся смешными, сейчас вызывают у нас громкий хохот и воспринимаются очень уместными. Постепенно между людьми, стоящими в очереди, протягиваются незримые дружеские нити. Мы уже словно давно и близко знакомы. И кажется, что будто нет ни малейшей разницы между этими людьми, между профессией, должностью, образом жизни. Все они безо всякого труда прекрасно понимают друг друга. Кажется, будто они и мечтают, и думают, и переживают одинаково. На самом деле, это, конечно, не так. Ведь очень скоро стало известно и где работают большинство присутствующих, и их профессии.

На мгновение мне показалось, что все мы актеры и вышли из какого-то спектакля. И у каждого из нас своя роль, свой текст этой роли, своя манера поведения и образ мышления, присущий именно этой роли. Как это ни смешно, я даже составил список действующих лиц этой пьесы.

Молодой бородач: он весь зарос черной щетиной. Вначале я подумал, что это дань моде. Ему около тридцати лет. Пожалуй, единственный человек во всей очереди, ни проронивший за все это время ни одного слова. Глаза его непрерывно блуждают, словно в поисках чего-то.

Журналист: работает на радио в отделе пропаганды. Говорит он больше всех, активно участвует во всех разговорах, никому не дает передышки.

Студент: под мышкой несколько тетрадей и толстый учебник, одет в легкий плащ. Конечно, и мерзнет он больше всех.

Сладкоречивая дама: врач, отличается особым приветливым и любезным отношением к окружающим. Кроме того, сама ее манера разговаривать очень приятна.

Язвительная особа: явно домохозяйка. Едва заняв очередь, принялась говорить всем колкости. Ехидству ее нет границ.

Тем временем мороз крепчает, и жалобы на погоду учащаются. Весь съёжившись, спрятав руки в карман плаща, студент с сожалением и завистью произносит:

– Ну и повезло же тем, кто на каникулы вырвался домой. Отдохнут как следует в родных местах, да еще, приехав в город, будут неделю лакомится мамиными гостинцами. Эх, не будь у меня «хвоста», я бы тоже поехал в нашу деревню. Жаль, как ни старался, не смог пересдать этот «хвост» до конца сессии.

Вмешивается журналист:

– Стоит только у нас пойти снегу, как мгновенно разносятся разные слухи. Чего

только не говорят: и дороги будто обледенели, и транспорт не работает, и с хлебом перебои. Ну, что тут скажешь? Может, муки нету у нас? – так это неправда. А хлеб печь, развезить некому – тоже неправда. Есть ведь все. Но, к сожалению, что необходимо было подготовить еще летом, у нас об этом начинают думать лишь сейчас, в последнюю минуту. Уверяю вас, именно по вине некоторых организаций в зимние месяцы, в снежные дни, население нашего города страдает от перебоев в работе транспорта, в снабжении хлебом. Причем, газеты постоянно пишут об этом. Сколько раз мы, журналисты, и писали и говорили.

Выватив из длинной речи журналиста слово «газета» и «пишут», заверещала ехидная женщина:

– А как насчет того жуткого происшествия, что в газете писали? Правда это или нет?

«Язва» (как уже назвал ее я про себя) намекала на недавний несчастный случай в городе. Об этом писали в газетах. Вдруг произошло совсем неожиданное. Прислонившись лбом к холодной стене, навзрыд заплакал бородач. На миг все словно окаменели, не в силах даже шевельнуться. Потом нам сразу стало ясно, в чем дело. И все же никто не мог заговорить первым, хоть чем-то утешить несчастного. Положение спасла все та же язвительная особа:

– Ты уж прости, братец, неужто и твои среди погибших?

Бородач судорожно кивнул головой. Женщина засыпала его вопросами:

– И кто же умер?

– Моя жена.

– Ай-ай-ай... Сколько же лет несчастной было?

– Двадцать семь.

– А дети есть?

– Двое.

Она никак не могла успокоиться, причем интересовалась всеми, даже самыми тяжелыми и невыносимыми подробностями. Она нашла тему для разговора с соседками. Под ее бестактными вопросами мужчина менялся в лице, словно умирал, потом снова возвращался к жизни, успокаивался, и опять горькие рыдания охватывали его с новой силой. Но, странное дело, мне казалось, что он не столько мучается, сколько находит некое непонятное утешение, освобождая сердце от наболевшего. Я даже подумал, что он, может, давно ждал такую «пресс-конференцию».

Сердца наши словно обледенели. Теперь мы и не замечали холода, сами являясь им. Кто знает, сколько бы продлилось бы это оцепенение, если бы «сладкоязычная» женщина не подала «язве» знак замолчать и сама заговорила с бородачом. Говорила она с ним таким образом, что постепенно все мы – и бородач, и окружающие его люди почему-то почувствовали душевное облегчение. словно кто-то отпустил наши туго натянутые нервы, растопил лед сердец и разговор принимал обычную форму. Стало известно, что парень этот работает в театре техническим работником. В разговоре он часто пользовался выражениями из театрального жаргона, неестественно жестикулировал, порой это выглядело вульгарно, но для нас значения не имело. Ведь мы знали, что с ним произошло. А бородач все говорил. Никто не задавал ему никаких вопросов, он словно беседовал сам с собой.

– Сегодня ровно месяц, как ее нет. Уже целый месяц погас очаг нашего дома... Если бы не дети, ни минуты не сидел бы там, так тошно, словно все чужое... Даже дети... Недавно младшая дочурка, поглаживая мою бороду, проговорила: «А у дру-

гих мужчин почему-то нет бороды». Я, конечно, ей объяснил, что мне очень холодно, потому и отпустил бороду. Нет ночи, чтобы она не говорила с матерью, не успев проснуться, сразу же зовет маму. Не дождавшись ответа, всплакнет немного и снова засыпает. Это невозможно выдержать.

Глаза любопытной особы наполняются слезами и, не удержавшись, она всхлипывает:

– Ох, бедные сиротки... Разве можно жить без матери, Боже ты мой! А ты, несчастный, как же это случилось, что отпустил ее в тот день из дому?

На этот вопрос парень ничего не ответил. Помолчав, опять заговорил, уставившись в снежную темень.

– В те дни я лежал дома больной с высокой температурой. За два дня до этого случая она купила для дома тридцать тарелок. Показала мне свою покупку, а я очень неудачно пошутил: «Василя, ты, кажется, готовишься к моим поминкам?» Не успел сказать, как она вся вспыхнула. «Что ты говоришь, Халид!» – прошептала она с ужасом. Потом стала разбивать одну за другой новые тарелки, с силой швыряя их об пол. Пока мне удалось успокоить ее, около пятнадцать тарелок было сломаны. Эх... будто с того самого дня и пошли несчастья...

Сладкоречивая женщина мягко и деликатно прервала его и начала говорить о себе. Глаза ее наполнились слезами, когда она рассказала о том, как прошлым летом в море утонул ее пятилетний сын. Правда, мне показалось, что она несколько преувеличивала и сгустила краски в своем рассказе. Я чувствовал, что от ее разговора бородачу становится легче, он дышит свободнее. В то время, как эта женщина утешала парня, словно смазывая его раны целебным бальзамом, другая грубо сдираала с этих ран свежую корочку, упорно возобновляла прежнюю тему, увлеченно покачивала головой, слушая разговор. Она снова засыпала его ливнем вопросов: «Где у нее были раны?... Как вам сообщили, что она мертвая?... Кто же присмотрит за детишками?..»

На мгновение я почувствовала ненависть к этой женщине. Мне захотелось наругать ей, заставить замолчать. Но я взял себя в руки, ведь несчастье, приключившееся с парнем, каким-то образом сразу же сблизило между собой всех нас. Мы были охвачены желанием хоть чем-то помочь этому несчастному, сделать для него что-то доброе, полезное. И как-то само собой произошло удивительное: люди, стоящие в очереди перед парнем, стали незаметно отходить от прилавка, уступая парню место. Теперь все были осторожны и деликатны.

Хлеб все еще не привезли. Небо над головой было окутано мраком. Но прямо перед нами мерцала одинокая звезда. Мне казалось, что если каждый из присутствующих здесь посмотрит на эту одинокую звезду, то обязательно что-нибудь подумает о ней.

Бородач: «Бедняжка, она, как и я, одинока»

Журналист: «Как будто не относится ни к какой организации».

Студент: «В такой холод одна-одинешенька, замерзла...»

Язвительная: «Несчастливая. Сирота. Беспризорная».

Сладкоязычная: «Пришла бы к нам, не тосковала б так».

– Эй, братец, где хлеб купил?

Женский голос оторвал меня от звезды. Вопрос был обращен к прохожему с буханкой хлеба.

– Внизу, в хлебном. Не стойте понапрасну. Сюда вряд ли сможет подняться ма-

шина с хлебом. Все улицы обледенели, а подъем крутой. Иди лучше вниз...

– Думаешь, не раскупят до нашего прихода?

– Когда я уходил, хлеба было много, по-моему, успеете.

Журналист вышел из очереди.

– Друзья, помогите женщине. За мной!

Пожилые словно помолодели, а у молодых сил прибавилось. Все побежали вслед за журналистом вниз по скользкой улице. Наконец, добрались до магазина. Хлеба было достаточно. Но и народа собралось немало. Может, и не хватит всем. Самое удивительное заключалось в том, что каждый из нас, купив хлеб, не уходил, а терпеливо ждал своего товарища, с которым пришел к магазину. Каждый словно хотел доказать свою верность и преданность в дружбе. Вот и бородач вышел из магазина довольный, с хлебом в руках... Все словно и ждали этой минуты, и двинулись вверх по улице. Постепенно их фигуры скрывались в ночной мгле.

Моя очередь еще не подошла, но ждать оставалось недолго. Вдруг я почувствовал, что скучаю без всех этих людей. Я мечтал поскорее наконец очутиться у прилавка... Мне так хотелось пройти с ними всю дорогу до дому и со всеми попрощаться. Наконец, подошла и моя очередь. Я купил хлеб и заторопился за чуть видневшимися впереди людьми. В это миг мне подумалось, что скоро эта партия хлеба закончится, и многие будут вынуждены дожидаться следующей машины с хлебом. За последние два-три часа сердце мое стало настолько чутким и впечатлительным, что я не хотел убивать мечты, только что зародившиеся в нем, и повернул обратно в хлебный магазин. Мне очень хотелось увидеть того, кто будет первым в очереди успевших.

Вот и продана последняя буханка. Те, кому не повезло, тоскливо провожают взглядами счастливых, отходящих от магазина. Наконец, я увидел его – того, кто был ближе всех к последней буханке. Разделив свой хлеб, я молча протянул ему половину.

Потом я побежал что было силы. Догнал людей, неожиданно ставших мне столь родными и близкими. Теперь они шли все вместе: мужчины, женщины, старики, молодые, – люди из совершенно разных семей, словно давние друзья, словно братья и сестры.

Утром я встал раньше своего негодного будильника. Успел умыться, и лишь тогда он зазвенел, словно проснувшись. Поев вчерашнего хлеба, заспешил на работу. Снова было очень холодно. Снег валил еще сильнее, чем вчера. Значит на работу мне придется добираться пешком... Несмотря на мороз, на стужу, во дворе уже опять играли в снежки дети. Многие из них держали в руках по куску хлеба, – видно, так торопились выйти, что дозавтракать не успели.

Хоть и надо было мне в противоположную сторону, но я не удержался и свернул к площадке, где возились дети. Завидев меня, они весело загалдели:

– Горхмаз, Василя, Улдуз... Скорее сюда. Пришел вчерашний дядя.

И уже не спрашивая разрешения, начали закидывать меня снегом. Они знали, что я не обижу их. Снежки летят в меня со всех сторон. Я поднимаю воротник и иду своей дорогой. А мне в спину то и дело ударяются маленькие, мягкие, безобидные снежки.

НАШИ ГОСТИ

РИФМОВАННЫЕ СНЫ

«Иногда во сне мне видится Баку...»

Рафаэль Шик

Существует расхожее (но от этого не менее верное) мнение, что бакинцы остаются бакинцами, куда бы ни забросила их судьба... И неудивительно – ведь они представляют собой «совершенно особый генотип, над которым поработали природа и время, протрудившись много десятков лет (и даже столетий) – по ассоциации вспоминаются камни, обточенные временем и морем до совершенства, до немислимых оттенков, узоров, вкраплений...» (У. Чертовских). Именно это особое братство не по крови, а по духу позволяло жителям нашего города, независимо от национальной принадлежности, с гордостью называться «бакинцами». Однако ход времени неумолим, и все чаще приходится прибегать к еще одной цитате: «Иных уж нет, а те далече...» Наш сегодняшний гость (точнее, гостя), как раз принадлежит к категории «далече» – вот уже четверть века она проживает в США, оставаясь при этом бакинкой, то есть, помня, любя, отчаянно ностальгируя и бережно храня в себе родной город со всеми его особенностями. В ее стихах (несмотря на их отчетливо выраженную мультикультурную, общечеловеческую составляющую) слышится шум каспийского прибоя, запах нефти плывет над бульварными аллеями, до сих пор освещены окна старой школы, а главное, сквозь строчки проступают «друзей моих прекрасные черты», лица всех тех, кого сегодня, увы, уже не встретить на наших улицах.

С тех пор, как мы ввели в журнале рубрику «Земляки», в ней прошли публикации самых разных авторов, рассеянных по всем уголкам планеты. Всех их объединяет одно – они в свое время были (и остаются донныне) гражданами нашего удивительного города, из которого можно уехать, но который невозможно забыть. Так, в седьмом номере нашего журнала за этот год прошла публикация еще одного нашего земляка С. Колмановского. В подборке среди других стихов было и посвящение брату Вике (Виталию Колмановскому). Стоит напомнить молодому поколению читателей, что братья Колмановские в свое время были одними из наиболее заметных бакинских личностей конца 1960-х: чемпионы всесоюзного КВН-а, долгие годы основные сценаристы Бакинского Клуба Веселых и Находчивых. (Виталий позже станет еще и многократным победителем и призером мировых, европейских и американских чемпионатов клуба «Что? Где? Когда?») Почти полвека В. Колмановский преподавал русский язык в Педагогическом институте (сегодня Бакинский Славянский университет). Обеими братьями написано множество стихов (при этом поэтами они себя не считают), Виталий писал и прозу, занимался переводами.

И неожиданное (но вполне логичное) совпадение – в это же время на мою почту пришло очередное письмо со стихами замечательного поэта, Марии (Маши) Перцовой. В текст был также включен небольшой фрагмент из ее бакинских воспоминаний, который открывался словами: «...Оказавшись в гостях у Виталия Колмановского...» (А несколькими строчками ниже – еще одно имя: Александр Грич, также нередкий гость на наших страницах.) Все это – еще несколько монеток в копилку нашей общей памяти о нашем городе и замечательных людях, некогда принадлежавших к единому бакинскому этносу. Ну а теперь – слово самому поэту.

Алина ТАЛЫБОВА

МАРИЯ ПЕРЦОВА (США)

«...Лет 6-7 назад, оказавшись в гостях у Виталия Колмановского (преподавателя АПИ им.М.Ф.Ахундова, остряка, бывшего кавээнщика, соратника Юлика Гусмана, автора симпатичных воспоминаний и стихов, теперь уже к сожалению покойного), я заметила у него на полке книгу со знакомой фамилией на корешке, потянулась посмотреть – Александр Грич... Дома прочитала одолженный у Колмановского сборничек, стихи мне понравились, за сдержанной интонацией – сильные чувства, переживание времени. Позвонила ему, он сказал, что скоро будет в наших краях (он тогда жил в Лос-Анжелесе, в 6 часах езды от нас) и с удовольствием выступит. Общими усилиями сочинили «бакинский вечер», на который собралось человек шестьдесят... Грич читал стихи, выступали два пианиста – Намик Султанов (здесь он – профессор в университете, преподает, иногда дает концерты) и Борис Солодкин, отличный джазовый пианист. Дело шло уже к завершению вечера, когда Солодкин сказал мне, что они все-таки упростили маэстро выступить. «Кого, кого?..» – переспросила я (вообще-то я была ведущей вечера и вроде как должна была быть заранее предупреждена обо всех изменениях и дополнениях в программе), но пожилой человек с палкой, опираясь на руку сопровождавшей его дочери, уже шел к роялю. А дальше мне пришлось открыть рот от изумления и уже не закрывать, а постоянно смахивать слезы счастья. В стареньком клубном рояле оказалось скрыто хранилище серебряных колокольчиков, которые зазвенели так грустно и нежно, выводя знакомые азербайджанские мелодии... А вам не приходилось слушать Чингиза Садыхова, аккомпаниатора Муслима Магомаева?.. Как жаль...

...Грич приезжал к нам еще раз, кажется, в 2011-м, на презентацию своей мемуарной книги, отрывки из которой печатались в «Литературном Азербайджане», от него я в свое время многое узнала о Владимире Портнове, о Фикрете Годжа... Сам он стихов давно не пишет, странно, как это происходит, чтобы вот так безвозвратно...

...А вообще-то так естественно сложилось, что все близкие друзья – бакинцы, ну, и пара «примазавшихся», которые за годы так поднаторели в «бакинстве», что без бадымджана и кутабов за стол не сядут – даже не просят...»

Из воспоминаний М.Перцовой
«Бакинцы в Калифорнии»

В прихожей

**Что отличает, в сущности, поэта?..
Пустяк – квадратность тени от кольца,
Венозная, чумная связь предметов,
И черный шарф у бледного лица.**

**Я пну ногой тугой кадык порога,
В стекле – анфас, он чуточку пожух,
И, так как остальное все – от Бога,
Вороний шарф на шею повяжу.**

На бульваре

Из какого-то прошлого... С бычьей шеей атланта,
С лакированной сумочкой на плетеном ремне,
Старая девушка по имени Иоланта
Выплывает, барахтаясь в белогорбой волне.

Дешевенький ландышевый нежный запах приманки
Вплетая в бульварный аромат нефтяной,
Свое имя нелепое – прихоть матери меломанки –
Как цветной парашют, волочит за спиной.

Молодые мамы с младенцами милыми
Вдохновенно воркуем сплоченным кружком...
Я не помню ни лиц, ни имен, ни фамилий их –
Только Ласю, с ее виноватым смешком.

Памяти белой эмиграции

Город университетский, континент американский.
На полу ковер персидский, на стене московский вид,
И хозяин по-немецки, чуть трудней по-итальянски,
И свободно – по-французски, по-английски говорит.

Русский – правилен и строен, и акцент не слишком явный,
Два старинных польских рода, две короны, два герба,
Алый бык и лавр зеленый, три подковы – православна
Тонкогубая мадонна, темноликая судьба.

Не скупилась на скитанья, на признание, на заботы,
На несуетность желаний, на приметливость пера,
Только старости спокойной пожалела отчего-то,
На уют больничной койки неоправданно щедра.

Длинноногие гвоздики на умолкнувшем рояле,
Тускло вспыхивают книги, пряча время между строк,
Мы так долго говорили... Мы еще не начинали.
Дети русский позабыли.

Может, внуки... С ними Бог.

* * *

Балкон и зеркало напротив – в полстены,
А в нем – природы лик неугомонный,
А в нем – такие деревья возведены,
Плащи их так клеёнчато-лимонны,
Такой воздушный выпускной наряд
Весною примеряют лавровишни,
Что и меня, пожалуй, примирят –
Еще на этом свете – со Всевышним.

Баллада о перышке

И когда прояснилось, что мир наш сошел с ума,
И когда оказалось, что стыдно в глаза смотреть,
И строчит из угла не перышко – автомат,
Невозможно перышку стало в ночи скрипеть –

Про тугую колючую проволоку ветвей,
Про ползучую черную глину осенних троп –
Если рядом опять отстреливают детей,
И ложатся в осеннюю землю, за гробом – гроб.

Как из скважины нефть, хлещет ненависть, шелестя,
И по всем широтам безбожный огонь горит.
Невозможно перышку петь под накрап дождя,
Невозможно ему скрипеть...

Но оно скрипит.

* * *

Когда
смертный позор 20-го века
станет неудавшимся походом,
провалившейся военной кампанией,
Когда
усатый горец и картавый вождь
встанут в растянутую, как на уроке физкультуры,
шеренгу тиранов,
рядом с Иваном Грозным, Наполеоном и Робеспьером,
Когда
Земля вернет ордена предков удивленным потомкам,
и награды повиснут в музеях на пустых шинелях
и холодных гимнастерках,
Когда
отдрожит эхо последнего русского слова в странах
обломках бывшей империи,
Когда
вертлявая модница повяжет на шею алый
треугольный платочек
и никто, ни один человек, не увидит в этом ни вызова,
ни какого-нибудь скрытого смысла,
Когда
Хиросима превратится в обычный город на западе Японии,
Когда...

Когда все это случится,
нас давно уже не будет на земле.

* * *

...А бывают такие моменты:
Каравелла садится на мель,
И охота ребристой монеткой
Закатиться тихонечко в щель.
Как из сумки, из времени выпав,
Отлежаться в пуховой глуши –
Ни шагов, ни биений, ни скрипов,
Ни звонка, ни руки, ни души.
Но потом, в полновесном июле,
Отыскаться почти невзначай,
Чтоб обдули, орлом повернули
И бармену швырнули на чай.

Мыслишки

1

Господь любит научную фантастику,
Читает все – от мастеровитых поделок
До внушительных творений властителей умов,
Не брезгует и дешевенькими изданиями,
В самом деле,
Надо же куда-то двигаться.
Что, как говорится, ищите...

2

Ходим по музею Господа Бога,
Вход в него бесплатный, открытая дорога,
И только на выходе встали контролеры,
Голоса негромки, движения споры –
Отдавай обратно

билет свой бесплатный!..

* * *

Тропический дождь поливает тропический лес.
И нас поливает – того и гляди разрастемся,
Подобно лианам и мхам экзотических мест,
Так буйно и дико, что нас не узнает потомство.
С шуршащим потоком вот-вот снизойдет благодать
На нас, неуклонно к сокрытому свету влекомых –
Сюжеты лелеять,

трагический эпос слагать
Из жизни растений и всяких других насекомых.

Наставление

**...Школа выкрашена в льдисто-голубой
с жарко-рыжим.
Шапки пышных непримятых облаков
нахлобучены на крыши.
Слаб и тонок голых ясеней костяк
на поверку.
Питер Брейгель, скиньте замшевый пиджак,
и – к мольберту!..**

**Время сыплется –
серебряный песок, мел толченый –
На точеные фигурки игроков на зеленом,
На отпущенного сдуру с поводка сенбернара,
На потрескавшийся каменный рукав
коммунара.
Все проходит, исчезает, словно дым,
все на свете,
Даже молодость, да что там, даже жизнь,
я – свидетель.
Остается незаконченный квинтет,
след непрочный –
Ink on paper, капли неба на холсте...
Или в строчке.**

МАРК ВЕРХОВСКИЙ

ЗАГАДОЧНЫЙ УЗЕИРБЕК ГАДЖИБЕКОВ

В то холодное утро похорон маэстро школа организованно направила старшеклассников к зданию Академии наук, где проходило прощание с композитором. Нас, учеников младших классов, конечно, не пустили на похороны и мы остались заниматься чистописанием. Весь день по радио городской сети, на фоне музыки ушедшего композитора, шла трансляция траурного прощания. Наш классный руководитель Римма Давидовна провела интересный урок, рассказав нам о музыкальной деятельности нашего соотечественника, который в 1938 году, одним из первых был удостоен высокого звания народного артиста СССР.

...Вот что рассказывает композитор Ариф Меликов: «Вторая моя встреча с бессмертным Гаджибековым произошла в день его смерти. Великий Гаджибеков лежал в гробу. В этот раз я его видел очень плохо. Глаза мои были затуманены слезами. Плакал весь народ. Плакали люди всех национальностей, всех профессий, плакали маленькие и большие. Весь как один в этот день поднялся азербайджанский народ проводить в последний путь своего гениального сына. Люди толпились, толклись в сплошной массе, это был грандиозный плачущий хор. Это был не траур по умершему, это было что-то другое...»

Началом отсчета моего соприкосновения с творчеством маэстро стал просмотр кинофильма «Аршин мал алан».

Впрочем, как мне кажется, всенародная слава Гаджибекова началась не с его известных опер, а именно с этого популярного кинофильма.

Собственно, с него и начался триумф молодого певца Рашида Бейбутова, сыгравшего роль Аскера. Невозможно было устоять перед натиском дуэта «Пулун вар? – Варвар!»¹, который ежедневно взрывал наш старенький приемник, начиная дневные музыкальные передачи. Сладкий голос Рашида подтверждал решимость персонажа Аскера: «Выйди замуж за меня!».

Будучи старшеклассником, я познакомился с другими произведениями Узеира Гаджибекова. Однако пришла в моей жизни пора, когда я стал встречаться с маэстро ежедневно, а если точнее, то в течение целых 25 лет моей жизни, вплоть до отъезда из Баку. Ровно столько лет я ежедневно приходил по утрам к Консерватории, где напротив памятника Узеиру Гаджибекову, ожидая сослуживцев, начинал свой маршрут наш служебный автобус. Обычно я приходил чуть пораньше и, отдавая дань уважения бывшему ректору Консерватории, подходил к нему, чтобы ещё раз полюбоваться чудесным творением другого мастера – Токая Мамедова, создавшего в 1960 году бронзовую скульптуру Узеира Гаджибекова, в глубоком раздумье сидящего в кресле.

Длительное наблюдение открыло для меня феномен скульптуры. Я пришел к выводу, что дружеская близость к образу достигается за счет сидячего положения скульптуры. Расслабленная поза и низкий постамент сближают. Можно вплотную увидеть выражение лица и даже предположить, о чем задумался великий композитор. Воображение подскажет вам любой возможный разговор с ним.

Молодой Узеир Гаджибеков начинал свою просветительскую деятельность с публицистики. Обратим внимание на то, какой она была плодотворной и обширной.

Переехав в 1905 году из Гадрута, где он преподавал в местной школе, в Баку, Узеирбек начинает литературно-публицистическую деятельность в газете «Иршад». Параллельно трудится переводчиком в газете «Хаят».

В 1907 году, уже работая над оперой «Лейли и Меджнун», У.Гаджибеков, неожиданно для всех, в типографии братьев Оруджевых выпускает в свет книгу «Русско-татарский и татарско-русский словарь политических, юридических, военных и многих других терминов».

Написал учебник арифметики.

Некоторое время (1909 г. июнь-сентябрь) сотрудничает в качестве главреда в газете «Терегги».

Затем издатель и главный редактор газеты «Хагигат».

С 1914 по 1918 годы Гаджибеков является владельцем и главным редактором газеты «Йени игбал». Здесь он печатает сатирические рассказы и фельетоны, написанные им во время учебы в Москве. Позже – начало сотрудничества с газетой «Азербайджан», а с 16-го января 1919г. У.Гаджибекова назначают на должность редактора газеты «Азербайджан». Работал он в ней до 28 апреля 1920 года.

При этом, У.Гаджибеков одновременно и продуктивно создает лучшие свои оперные произведения.

Именно это раздвоенное творчество как композитора и публициста создает загадочное многообразие талантов в феномене личности Узеира Гаджибекова.

С первых дней установления советской власти в Азербайджане Узеирбек ходатайствует о необходимости открытия музыкальных академий и народной консерватории, тем самым являя нам ещё одну важную грань его личности — общественную деятельность.

Переехав в Америку, я к счастью не потерял интереса к творчеству азербайджанских композиторов. В этом мне помогает радиоволна классической музыки, где исполняются произведения лучших композиторов Европы и Америки. Среди них звучит музыка и сынов азербайджанского народа. Интересно, что трансляция ведется без представле-

¹ «Деньги есть? – Есть-есть!» (азерб.).

ния национальной принадлежности композитора, тем самым подразумевается, что исполняемые произведения вошли в число лучших на планете.

Надо отметить, что русские композиторы на этой волне наиболее исполняемые. Пусть политики обмениваются между собой самыми резкими нотами, но я знаю, что П.Чайковский и С.Рахманинов, Л.Бетховен и Э.Григ, В.А.Моцарт и Ф.Лист, обязательно прозвучат в этот день, и не один раз.

Очень уместно звучит высказывание выдающегося азербайджанского учено-химика академика Юсифа Мамедалиева о творчестве У.Гаджибекова: «Во всем творчестве Узеира Гаджибекова чувствуется благородное влияние музыкальной культуры великого русского народа, самой передовой в мировой музыкальной культуре. Первоначальное музыкальное образование он получил в Петербурге и в дальнейшем продолжил и развил в своем творчестве прекрасные традиции своих учителей русских музыкальных классиков».

Америка продолжает удивлять своим интересом к многообразию культурной жизни нашей планеты. Мне стало тепло на душе, когда я прочитал в авторитетной американской газете Huffington Post статью известного критика Хойта Хилсмана, посвященную поставленному в Лос-Анджелесе спектаклю по оперетте «Аршин мал алан». Посмотреть современную интерпретацию самой популярной оперетты Узеира Гаджибекова пришли около 3000 человек.

Постановку в Лос-Анджелесе оперетты, премьера которой состоялась в 1913 году, автор статьи расценил как продолжение прогрессивных и светских традиций азербайджанской культуры. Он высоко оценил профессионализм исполнителей и назвал музыку оперетты чарующей, подчеркнув, что «Аршин мал алан» – первая оперетта в мусульманском мире, и по своему духу она направлена против отживших предрассудков и в защиту прав женщин. Автор статьи также указал, что зал театра Dorothy Chandler Pavilion был заполнен до отказа, и поздравил организаторов, продюсера и исполнителей спектакля с этим несомненным успехом.

А в другой влиятельной лос-анджелесской газете «Jewish Journal», в статье главного редактора Роба Эшмана «Аршин мал алан» едет в США», подчеркивается, что постановка в этом городе известной оперетты великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова, посвящена 100-летию создания произведения. Упомянув о приглашении со стороны генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе еврейской общины города посетить спектакль, автор замечает, что это первый случай, когда мусульманская страна адресовала еврейскому населению подобное приглашение. В статье подчеркиваются высокий профессионализм адаптации оперетты к новой эпохе и положительная реакция зрителей на исполнение, причем автор особо выделил исполнителей главных ролей Гюльчохры и Аскера.

Шоу в Лос-Анджелесе было поставлено американским продюсером Майклом Шнэком, обладателем многочисленных премий. В ролях выступали выдающиеся американские оперные певцы, которые пели на азербайджанском языке (английский текст проецировался на экран поверх сцены). Музыка же была исполнена знаменитым лос-анджелесским оркестром.

Осуществление постановки стало возможным благодаря поддержке государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики SOCAR.

В то же время, в рамках Всемирного музыкального фестиваля, во втором городе штата Калифорния – городе Сан-Франциско – состоялась постановка первой в мусульманском мире оперы Узеира Гаджибекова – «Лейли и Меджнун».

Перед спектаклем генеральный консул Азербайджанской Республики в Лос-Анджелесе Насими Агаев вручил специальный почётный диплом народному артисту Азербайджана, в настоящее время проживающему в Сан-Франциско, известному пианисту Чингизу Садыгову.

Подобные мероприятия убедительно свидетельствуют: музыканты – это отдельная «каста» людей, общающаяся на своем нотном языке, в своем обособленном мире, свободном от политизированности, и потому отличающаяся своим интернационализмом.

Ибо музыка – единственный фактор, который объединяет эту касту людей, живущих мелодиями, посылаемыми нам из Космоса...

Американцам близки и мугам, и африканский барабан, и шотландская волынка, и скрипка Паганини. Не случайно мы с удовольствием слушаем «Итальянское каприччио» П.Чайковского, «Шехерезаду» Римского-Корсакова, «Набукко» Дж.Верди, «Семь красавиц» Кара Караева, не задумываясь над национальной принадлежностью композитора.

В этом и есть многообразие красоты музыкальной культуры вообще, в которую внес весомый вклад мой соотечественник – гениальный Узеир Гаджибеков.

МАРИТА ПИТЕРСКАЯ

Живет в Санкт-Петербурге. Имеет высшее экономическое образование, работает главным бухгалтером. Пишет стихи и рассказы по мифам и легендам народов мира. Публиковалась в журналах «Слово-Word» и «Наше поколение».

И ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ СНОВА, ИЛИ ТЫСЯЧА ПЕРВАЯ СКАЗКА О ХОДЖЕ НАСРЕДДИНЕ

Он идет, и пески под ногами его – бесконечны. Солнце печет сквозь чалму, круглое, как прожаренная лепешка, румяная, посыпанная кунжутом рыночная лепешка. Желудок скручивает самумами голода. Он запрокидывает голову, губами хватая песчано-золотой, кунжутным запахом пропитанный воздух.

– Ходжа, а рассчитаться за лепешку? Да ты воруюешь, Ходжа!

– Видит всемогущий Аллах, я не вор! Я всего лишь беру займы – солнца, что светит бесплатно для каждого, будь он эмир, казий или простой ишак.

Солнце смеется с неба щербатым лепешечным ртом, надкушенное облачной тенью, скользит по подбородку кусочками печено-рыжего, крошками вязнет в его бороде.

– И долго ты будешь гоняться за мной? Вот погоди, уйду в дом – и там ты до меня не дотянешься!

До дома – столько шагов под ногами, сколько песчинок в песке, щекочущем его дырявые туфли. Но он знает короткий путь, он столько раз учил других, как это делается, так почему бы самому не последовать собственному совету?

Он закрывает глаза, и пышущая печным жаром пустыня вокруг него проваливается в темноту, серую, вязкую, как речная глина. Он открывает глаза на берегу арыка, голый, как в час своего рождения, и замерзший до синих пупырышек.

– Вай, до! Воры похитили мою одежду! Благодарю, Аллах милосердный, что меня в тот момент не было в ней, а то бы и мне не миновать похищения!

Он залихватски свистит, и, свесив понурую морду, из зарослей кустов выходит отошальный ишак. Он треплет его за ухом.

– И почему Аллах не создал меня покрытым шерстью, как тебя? Я бы изрядно сэкономил на покупке одежды, да и воры, возжелавшие обокрасть и без того нищего Ходжу, были бы посрамлены! Молчишь? Эх, чую, наш достославный эмир скорее сдохнет в своем эмирском дворце, или я – где-нибудь под дувалом, чем ты научишься отверзать свои уста в простой человеческой речи!

Ишак ревет, перекрикивая его голос, и ветер носит этот рев над арыком. Солнце мерцает в небе, как забытая ворами золотая таньга. Под солнцем плаваются масляно-белым стены родной Бухары. Он вскакивает на ишака, и, поддав пятками, направляет к воротам строптивное животное.

И все начинается снова.

У ангела темные, будто пеплом обсыпанные крылья. В руках у ангела – меч, словно сгусток раскаленного пламени. Ангел склоняет свои беломраморные колени – перед огненной бездной, выплюнувшей его вместе с мечом.

– Ну что, дошутился? – произносит он, не отмыкая губ, черной, как головешка, скорчившейся у ног его крошечной фигурке. – Тебя не принимает Рай, с его семьюдесятью роскошными гуриями, тебя не пускают к себе негаснущие костры Ада... да что ж ты такого натворил-то за свою ничтожно-жалкую жизнь, а, Ходжа? Ответствуй, ты ведь когда-то был столь остроумен!

– А мое остроумие никуда и не девалось! – мышиним писком доносится до ангельских ушей. – То, что я мертв – еще не значит, что я нем, господин Азраил! Вот как-то продавал я на рынке свое красноречие, так один жадный купец сказал мне, что...

– Довольно. Ты утомляешь меня, – рот ангела трескается мраморно-тонким изломом в легчайшей улыбке. – Мне приказали спустить тебя обратно на землю, раз уж Сам не может решить, что с тобой сделать. – Ангел со значением косится вверх, туда, где над бушующей стеной негасимого пламени встают прозрачно-голубые ворота с крепкими, как алмазы подземных недр, наглухо запертыми створками. – Проживи там, откуда пришел, еще жизнь-другую, проживи хорошо, обстоятельно, не торопясь, а Он пока подумает... Пошел!

Ангел бьет его каменно-твердым крылом, пятками отрываясь от облака, взлетает вверх – к распахнувшимся перед ним створкам небесной раковины Рая, и Ад недовольно ворчит ему вслед – утробно-низким рычанием некормленного зверя.

Ходжа падает вниз, летит вверх тормашками с облачно-мягкого бока, заполошно машет руками, пытаясь отсрочить падение... и просыпается в собственной кровати, под крики муэдзина за окнами, под золотом прыгающие по полу солнечно-звонкие лучи, просыпается, стряхивая за шиворот остатки сна...

И все начинается снова.

Говорят, что некоторые люди живы, даже если остальным кажется, что они мертвы, а другие – мертвы, даже если другим кажется, что они живы. Он не относит себя ни к тем, ни к другим – муха, стиснутая страничками Корана, бессильно перебирающая крыльями муха. Он работает аркебашем, сутками напролет гоняет нагруженную арбу по клубящимся пылью улицам Бухары. Он считает эту работу крайне

несправедливой для себя и громко жалуется на это своему ишаку. Ишак соглашается с ним, прядая седыми от пыли ушами. Ишак – глупое, нечистое животное, то ли дело слон... Он помнит слона, его гигантскую толстую ногу, вознесенную вверх под бешеный свист толпы, помнит собственные слова: «Лучше отдайте ему своего визиря, о, досточтимый эмир! Ведь я тощий, как иголка, ваш любимый слон занозит мною ногу, заболит и помрет, а визирь круглый, гладкий, и, будучи раздавленным слоном, не причинит ему никакого вреда!» Он только не может вспомнить имен – ни эмира, ни слона, ни визиря... ни даже того, опустил ли слон ногу в итоге. Все прячут обжигающе-перечные языки пламени, волнами наплывающие под веки, стоит ему только задуматься об этом.

Ишак ревет, пропуская соседнюю арбу. У аркебаши смутно знакомое лицо того самого эмира, который пообещал ему один серебряный динар и нарушил свое обещание, выдав сто. Кажется, его звали Тимур, и жители Бухары боялись его почище, чем ангела Азраила. И это понятно – ведь Азраил далеко, за скрытыми облачно-белым замком небесными вратами, Тимур же – идет по земле чуть прихрамывающей походкой, точно низверженный с облака ангел... и за плечами его – воинство земное.

– Ходжа, мне приснился сон, будто бы я – сам сатана!

– А на кого же он был похож?

– На кого? Ну, больше всего сатана походил на ишака!

– Ты ошибаешься, повелитель. Ты напугался во сне не сатаны, а собственной тени!

...Тимуру снится ишак. Ишаку снится Ходжа. Ходжа видит во сне ангела Азраила с крылами черными, как расплавленная смола, и жалеет, что не может проснуться.

Азраил с трудом проталкивается сквозь густую толпу, склоняясь над месивом из свежего мяса и размолотых в кашу костей, крылами задевая тяжелую ногу слона, выдергивает из-под нее – воздушно-легкую, как туман над арыком, душу заблудшего Ходжи. Рывком ставит на ноги. Отчитывает – за обезьяньи прыжки в медресе на сложенных стопкой коранах, за обманутого муллу, за намаз, пропущенный Ходжой – уже до кучи. Ходжа стоит перед ним, смиренно свесив на бок невесомо-прозрачную голову, и хитрая обезьянья усмешка прячется в его бороде. Ангел топорчит крылья, пожимая плечами, толкает его со всего размаху в грудь каменно-твердым перстом. Задыхаясь, Ходжа падает вниз, в расступившуюся под ногами леденяще-черную бездну... и пролетает насквозь, точно камень через толщу воды, и приходит в себя, верхом на ишаке, с тяжеленным мешком за плечами, доверху набитым пудрой, нитками, бусами и жевательной серой.

– Подходи, не скупись! Покупай недорого! Розовую воду для красавиц! Веера из перьев! Ну и что, что рассыпаются от первого же порыва ветра! А ты не веером маши, а своей головой – вправо и влево, вот и будет тебе свежий воздух! Что ты реешь, чертов ишак, так, что добрые люди не слышат, какой хороший я им предлагаю товар?! Вот сам бери и торгуй, если такой умный!

Уходит, бросив ишака и товар на волю ангела Азраила. Ишак прощально ревет ему вслед. Азраил – курлычет по-птичьи, роняя острые, как нож, перья, в серую придорожную пыль. Пыль окрашивается красным.

И все начинается снова.

– Ты надоел мне, вот что я тебе скажу, – он сидит в полуобнимку с Азраилом на самом краю бездны, клубящейся дымным и алым, и Азраил смотрит в бездну, точно в антрацитово-черное зеркало, и камушками роняет в нее слова. – Надоел, хуже паршивого ишака, который почему-то таскается за тобой из жизни в жизнь. А ведь ты его практически не кормишь... Будь я на месте Самого... – Азраил на миг умолкает, и слышно только, как с плеском падают в красно-красную воду камушки из-под его ангельски белоснежных колен. – Будь я Сам – давно бы определил тебя, куда пожарче, Ходжа, и дело с концом. Когда же это все кончится-то, а...

Азраил лукавит, и, поддакивая ему – лукавит Ходжа. Они оба знают, когда, и это знание морщинами искажает их лбы. Когда Ходжа закроет свой вечно смеющийся рот на железный замок и перестанет шутить, наконец – над Адом и Раем, эмирами и муллами, ворами и баями, над солнцем, встающим над мечетями Бухары, и месяцем, режущим ночи ее точеными, как сабли, лучами... Тогда Аллах милосердный простит шутника и даст ему вечный покой.

– Ведь ты же хочешь этого? – с надеждой спрашивает Азраил. – Семьдесят две гурии, и все – девственницы, каждую ночь. И яства... эм-м... на серебряных блюдах. И райские сады вокруг. А тут – песок, ветер, дурная работа и глупый ишак под боком, пахнувший ишачиным дерьмом. Давай, подумай, что ли. Ведь ты далеко не дурак, хоть и успешно прикидываешься оным.

Он думает, точнее, делает вид, что думает, как бы полочнее решить эту задачку. Монетками перекатывает в голове серебряно-звонкие мысли, морщится от пронзительного звона в ушах.

– Обманывать меня собираешься?! – грохочет Азраил, и близлежащий утес, не выдержав крика его, с шумом рушится в бездну, воду, красной, словно кровь, брызгая в лица ангелу и Ходже. – Не выйдет, я вижу тебя насквозь, мне по чину положено, шайтан тебя забори! Меня не надуешь, как глупого купца на базаре! Или ты ведешь себя по-человечески, или...

– А разве я не веду себя, как человек, о, карающая длань Аллаха всемилостивейшего? Разве человек должен молчать при виде глупости людской, при виде людской несправедливости? Разве не должен он бороться с ней – не молитвами к Аллаху милосердному, не проклятиями сатане – а метким, язвительным словом, что лучше всякого обезоруживает даже самый злостный порок? – Ходжа смотрит в лицо Азраилу, ангельски невозмутимое, белое, как стены мечети, лицо ближайшего к богу, и Азраил отводит глаза, потому что знает, что правда – на стороне Ходжи. И он страдает за правду – в очередной раз. И в очередной раз – не пожалеет об этом.

– Иди, и чтоб больше я тебя не видел. Проваливай вместе со своим ишаком! – ангел дует ему в лицо колюче-жарким дыханием самума, и веки Ходжи закрываются, чтобы открыться, мгновение спустя – за накрытым женой дастарханом, ломящимся от свеженаготовленных яств, перед дымящейся тарелкою с супом, которого он, Ходжа, съел уже столько, что сам вот-вот... расплещется, под веселье крики детей, играющих в войну на заднем дворе, с ветками наперевес штурмующих свою глинобитную крепость...

И все начинается снова.

– А что же ты скажешь о совершенстве божественной воли?

– С тех пор, как я себя помню, со мной постоянно случается то, что говорит Господь Бог. А если бы сила была не в руках Господа, когда-нибудь да исполнилось бы

и то, что я говорю.

Он смотрит в лицо табиба – изжелта-высушенное, как урюк, с крючковатым носом под кисейно-белой чалмой. Его таньга, очередная, потом и кровью заработанная таньга, отправляется в карман табиба, и ему жаль – и таньгу, и заболевшего себя, который день валяющегося в изматывающей плоть лихорадке. Он отворачивается от табиба, пальцем выковыривая на крошащейся глиной стене силуэт Азраила в сиянии ослепительного огня и с мечом за поясом. Потом они долго летают над огненным морем кипящей пузырями лавы, и Азраил что-то втолковывает ему, а что – он не помнит. Очнувшись, он понимает, что лихорадка покинула его, и, слабый, точно новорожденный котенок, ползет на улицу, придерживаясь руками за стенку. Табиб ждет его там, позвякивая за поясом мешочком, полным золотых таньга. Среди них – есть и монеты Ходжи.

– Я был на том свете и разговаривал с Азраилом, – сплевывает он вместо приветствия, прямо в меняющееся от страха изжелта-сушеное лицо. – И Азраил сказал мне, по секрету, что следующим он явится за тобой. Он очень не любит табибов, ведь они идут против воли Аллаха, вылечивая безнадежно больных.

Зубы табиба стучат, словно игральные кости, ссыпанные в холщовый мешок. Он робко жмет к дувалу и тихим, заискивающим голосом спрашивает, не пошутил ли Ходжа. Ходжа не отпирается – да, пошутил, и Азраил его, безусловно, не тронет – ведь он не умеет лечить, а значит – безвреден для Аллаха.

Затем смеется – из последних сил, хватаясь за трясущийся, словно желе, исхудавший живот, и ревом вторит ему из-за левого плеча верный ишак, а из-за правого – мечет громы и молнии златоглазый Азраил, и меч его, вспарывая густо-жаркий полуденный воздух, притягивает в город грозу. Сине-черная, она коршуном падает на Бухару с неба, когтит потоками ливня покатые крыши.

...Промокший до нитки, кричит муэдзин с вышины минарета. Купцы на рыночной площади поспешно прячут товары под дощатый навес. Табиб, пряча лицо под капюшоном от грозы и от Азраила, уходит домой, и монеты за поясом его вызванивают в ритм каждому шагу.

Ходжа ждет под дождем, раскинув руки, и думает, что вода, безусловно, лучше, чем адское пекло, а распускающиеся под ливнем сады Бухары – красивее самых красивейших райских садов. И семьдесят гурий – куда им до чернооких земных дочерей... и что он еще там обещал в ответ на смиренное поведение, этот огненноглазый лукавец?

– Азраил! Зря надеешься! Скорее ты помрешь, чем увидишь, как я замолчу! Слышишь меня, Азраил?!

Он мчится по улицам, словно дервиш, впавший в священный экстаз, и драные полы халата крыльями выют за его спиной, и лужи под босыми пятками его разлетаются в стороны вспуганными душами птиц. Ревет ишак, перекрывая собой громовые раскаты. В такт вторит ему муэдзин.

И все начинается снова.

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

ТОФИК МАХМУД

Садовник и виноград

Заглянул садовник в сад,
Там созрел уж виноград.
«Ну, – сказал он, – хватит спать,
Урожай пора снимать!»
И огромную корзину
Он взвалил себе на спину.
Обошел садовник сад,
Урожаю страшно рад.
Тянет руку он под лист
И срывает с ветки кисть.
А устанет он немножко,
Гладит он усы, как рожки.
И опять – скорей под лист
И кладет в корзину кисть.
Перерыв – звонят часы,
Снова гладит он усы.
У корзины с виноградом
Отдохнуть садится рядом.
Вдруг откуда ни возьмись,
И с забора быстро вниз,
Все в коротеньких штанишках,
В сад спускаются мальчишки.
Налетели на кусты,
Вот они уже пусты.
Будто с неба грянул град,
И побил весь виноград.
Винограда нет в корзине,
Он остался лишь в помине.
И один – совсем не трус –
Дерг садовника за ус.
«Ну, – сказал старик мальчишкам, –
Вот уж это слишком».
Побежал, что было сил,
А мальчишек след простыл...
Глянул снова на кусты,
Виноградники густы.
Виноград лежит в корзине
В самом деле, не в помине.
Вновь усы погладил он,
Засмеялся: Ну и сон!»
Винограда нет в корзине
Он остался лишь в помине,
И садовник очень рад:
Раздарил весь виноград!

Перевод Тофика АГАЕВА

